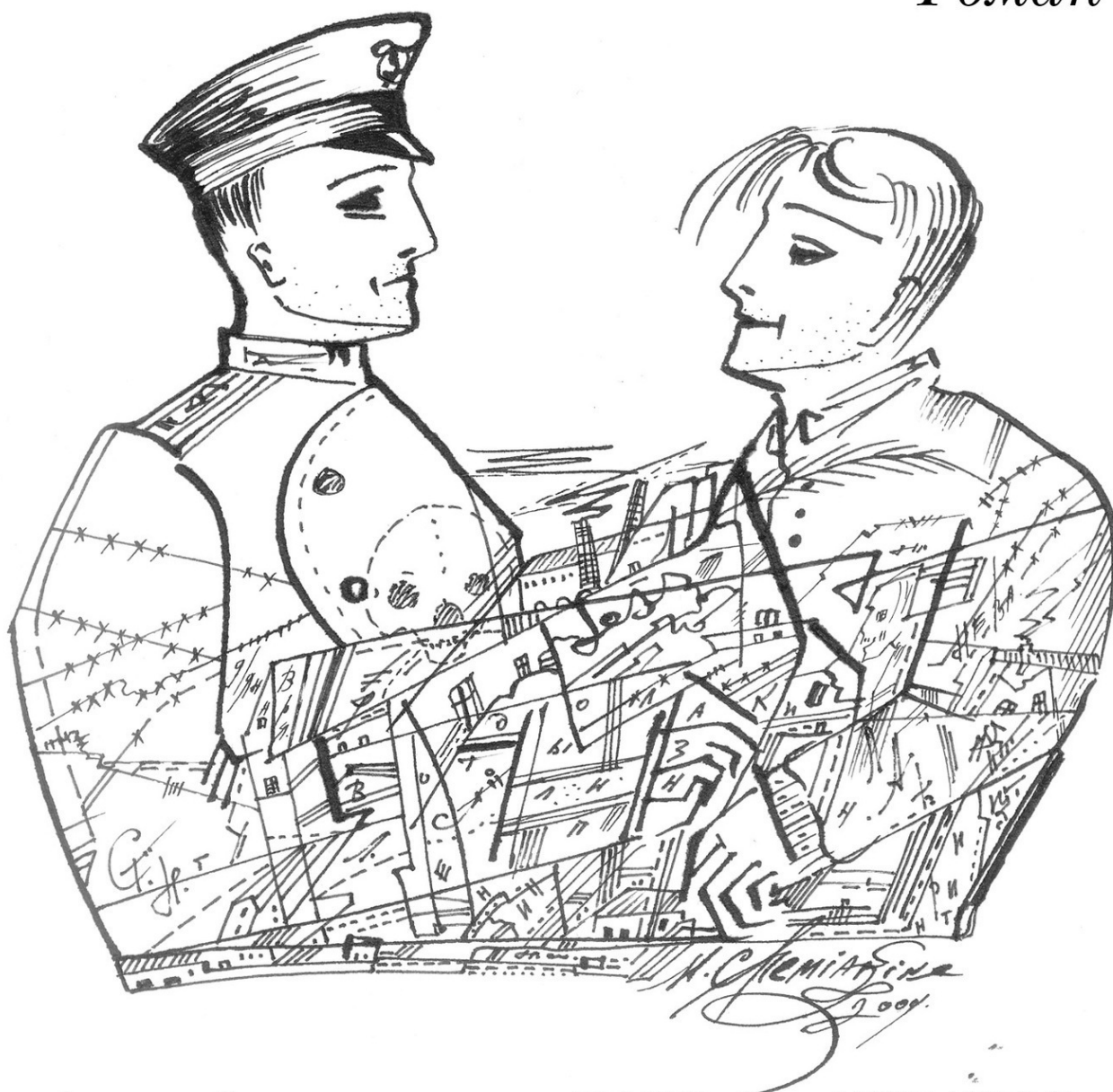


Евгений
Водолазкин
СОЛОВЬЕВ
и Ларионов

Роман



Автор бестселлеров «ЛАВР» и «АВИАТОР»

Новая русская классика

Евгений Водолазкин
Соловьев и Ларионов

«АСТ»

2009

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Водолазкин Е. Г.

Соловьев и Ларионов / Е. Г. Водолазкин — «АСТ»,
2009 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-113295-8

Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя стал литературным событием 2013 года (премии «Большая книга» и «Ясная Поляна»), был переведен на многие языки. Следующие романы – «Авиатор» и «Брисбен» – также стали бестселлерами. «Соловьев и Ларионов» – ранний роман Водолазкина – написан в русле его магистральной темы: столкновение времён, а в конечном счете – преодоление времени. Молодой историк Соловьев с головой окунается в другую эпоху, воссоздавая историю жизни белого генерала Ларионова, – и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его собственную жизнь. И вот уже сквозь современную научную конференцию проступает Ялта двадцатых годов и горящий в Гражданской войне Крым...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-113295-8

© Водолазкин Е. Г., 2009
© АСТ, 2009

Содержание

1	6
2	16
3	24
4	32
5	39
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Евгений Водолазкин **Соловьев и Ларионов**

Памяти прадеда

1

Он родился на станции с неброским названием *715-й километр*. Несмотря на трехзначную цифру, станция была небольшой. Там не было ни кино, ни почты, ни даже школы. Там не было ничего, кроме шести деревянных домов, стоявших вдоль железнодорожного полотна. Достигнув шестнадцати лет, он покинул эту станцию. Он уехал в Петербург, поступил в университет и стал изучать историю. Учитывая полученную им при рождении фамилию – Соловьев, – этого следовало ожидать.

Профессор Никольский, университетский руководитель Соловьева, назвал его типичным *self-made man*, пришедшим в столицу с рыбным обозом, но это было, конечно же, шуткой. Еще задолго до приезда Соловьева (1991 г.) Петербург перестал быть столицей, а на станции *715-й километр* никогда не было рыбы. К великому сожалению подростка Соловьева, там не было ни реки, ни по крайней мере пруда. Читая одну за другой книги о морских путешествиях, будущий историк проклял свое внутриконтинентальное существование и решил провести остаток дней, к тому времени еще немалый, на границе суши и моря. Наряду со стремлением к знаниям тяга к большой воде определила его выбор в пользу Петербурга. Иными словами, фраза о рыбном обозе так и осталась бы шуткой, если бы не акцент на преодоление изначальных обстоятельств, так изящно поставленный английским выражением. Как ни крути, историк Соловьев был самым настоящим *self-made man*.

Другое дело – генерал Ларионов (1882–1976). Он появился на свет в Петербурге, в семье потомственных офицеров. В этой семье офицерами были все – за исключением отца будущего генерала, который служил директором департамента железных дорог. Ребенком Ларионову посчастливилось увидеть даже своего прадеда (в этой семье имели вкус к долгожительству), естественно – генерала, высокого прямого старика, потерявшего ногу еще в Бородинском сражении.

Любое движение прадеда, даже самый стук его деревяшки о паркет, в глазах малолетнего Ларионова было исполнено особого достоинства. Незаметно для других ребенок любил подогнуть правую ногу, пересечь залу на левой ноге и, по-ларионовски забросив руки на спинку дивана, откинуться на нее с глубоким вздохом. Дед Ларионова, да и его пышноусые дядья были, вообще говоря, не хуже прадеда, но ни бравый их офицерский вид, ни умение красиво выразиться (прадед был молчун) не могли идти ни в какое сравнение с отсутствием ноги.

Единственным, что примиряло ребенка с его двуногими родственниками, было обилие медалей. Больше всего ему нравилась медаль *За усмирение польского бунта*, полученная одним из дядьев. Дитя, не имевшее ни малейшего представления о поляках, было заморожено самой мелодикой словосочетания. Ввиду явного влечения ребенка к медали дядя ему в конце концов ее подарил. Эта медаль – вкупе с медалью *За покорение Шипки*, полученной им от другого дяди, – была носима мальчиком вплоть до семилетнего возраста. Слово *Шипка* сильно проигрывало слову *бунт* по части звучности, но красота самой медали восполняла ее фонетические недостатки. Не было для ребенка минут счастливее, чем те, что провел он, сидя среди своих родственников-офицеров с двумя медалями на груди.

Это были еще *прежние* русские офицеры. Они умели пользоваться столовыми приборами (включая позабытый ныне рыбный нож), непринужденно целовали ручки дамам и проделывали массу разных вещей, недоступных офицерам позднейшей эпохи. Генералу Ларионову не нужно было преодолевать обстоятельства. Как раз наоборот: ему надлежало только впитывать, наполняться до краев качествами своей среды. Что он, собственно, и сделал.

Генеральское начало проявлялось в нем с раннего детства, с того самого времени, когда, едва начав ходить, ровными рядами он выстраивал на паркете деревянных гусар. Видя его за таким занятием, присутствующие произносили единственно возможное словосочетание: гене-

рал Ларионов. Вдумайтесь, как естественно соединение этих двух слов; они созданы друг для друга, они произносятся без паузы и, перетекая одно в другое, становятся единым целым, как единым целым становятся в бою всадник и его лошадь: генерал Ларионов. Это было его первым и единственным домашним именем, к которому он привык сразу и навсегда. Генерал Ларионов. Заслышав это обращение, дитя вставало и молча отдавало честь. Говорить оно выучилось лишь к трем с половиной годам.

Что, спрашивается, соединило две столь непохожие личности, как историк Соловьев и генерал Ларионов, если позволительно, конечно, говорить о соединении молодого, цветущего исследователя и утомленного сражениями полководца, ушедшего к тому же в мир иной? Ответ лежит на поверхности: историк Соловьев изучал деятельность генерала Ларионова. Окончив Петербургский университет, он поступил в аспирантуру Института русской истории. В этом-то институте генерал Ларионов и стал его диссертационной темой. Не приходится сомневаться, что к 1996 году – а именно о нем идет речь – генерал Ларионов уже всецело принадлежал русской истории¹.

Разумеется, Соловьев не был первым, кто занялся изучением биографии знаменитого генерала. В разное время появилось десятка два научных статей, посвященных разным этапам его жизни, а главное – связанным с ним тайнам, так до сих пор и не разгаданным. Это немалое, на первый взгляд, число работ кажется совершенно недостаточным на фоне того интереса, который генерал Ларионов всегда вызывал и в России, и за рубежом. Неслучайным представляется то обстоятельство, что количество научных исследований значительно меньше числа романов, фильмов, пьес и т. д., в которых генерал предстает либо как действующее лицо, либо как прототип героя. Такое положение вещей как бы символизирует преобладание мифологии над положительным знанием во всем, что касается покойного.

Более того, как показал критический анализ французской исследовательницы Амели Дюпон, мифология проникла даже в научные статьи о полководце. Потому для всякого, кто впервые приступает к данной теме, поле исследования становится до определенной степени минным полем. Но даже те статьи – и об этом также пишет А. Дюпон, – в которых истина предстает во всем блеске научной аргументации, освещают столь частные проблемы и эпизоды, что значение добытой и аргументированной истины стремится к нулю. Знаменателен тот факт, что работа самой А. Дюпон (книга вышла на французском и русском языках) до сих пор является единственным монографическим исследованием, посвященным генералу Ларионову². Этим обстоятельством лишний раз подчеркивается скудость источников по данному вопросу. Если французской исследовательнице и удалось собрать материал для монографии, то исключительно благодаря ее самоотверженности и особому отношению к теме, названной ею темой своей жизни.

В самом деле, А. Дюпон без преувеличения была создана для разысканий о русском полководце. В данном случае имеются в виду вовсе не внешние данные историка, над которыми научное сообщество позволяет себе подтрунивать³. Известно ведь, что колкости и шутки за спиной крупного специалиста (в узких кругах А. Дюпон именуют *mon general*) являются обычно не более чем формой проявления зависти. Таким образом, упоминание о предназначении А. Дюпон для указанной темы прежде всего подразумевает ее редкую настойчивость, без которой, в сущности, и невозможно было бы обнаружить те важнейшие источники, которые она впоследствии опубликовала. И, право же, недалеко от истины те, кто полагает, что появление усов, вызвавшее неадекватную реакцию в научных кругах, могло быть обусловлено в

¹ См.: Кто есть кто в русской истории. М., 2005. С. 1082–1088.

² Дюпон А. Загадка русского генерала. СПб., 1991.

³ Речь, в частности, идет о росте исследовательницы (187 см) и выросших после сорока лет усах.

первую очередь увлеченностью исследовательницы темой. Объективности ради следует, впрочем, отметить, что сам генерал Ларионов усов не носил.

На всех сохранившихся фотографиях (см. вклейки в кн. А. Дюпон) перед нами предстает тщательно выбритый человек с коротко подстриженными и уложенными на пробор волосами. Пробор выполнен настолько ровно, а качество бритья столь безупречно, что при рассматривании фотографий невольно ощущается запах туалетной воды. Как и в большинстве других случаев, в отношении своей внешности генерал Ларионов принял единственно верное решение. В отличие от окружавших его офицеров, он не стал стилизоваться под Александра III, посчитав, что идеально правильные черты его лица не нуждаются в обрамлении. Что интересно, несмотря на эту правильность, лицо его не казалось красивым. В зрелом возрасте, особенно в старости, оно стало словно бы живее. Нередко случается, что, рассматривая фотографию человека в молодости, поражаешься вопиющей недостаточности, почти эмбриональности его вида в сравнении с тем, что пришло позже. В таких случаях испытываешь сожаление по поводу существования в жизни портретируемого и такого этапа. Разумеется, подобное чувство в высшей степени аисторично. Что же касается генерала, то появившиеся с возрастом морщины под глазами и возникшая на носу горбинка сделали его лицо более рельефным. В определенный период своей жизни, лет в 35–40, этой горбинкой и выражением лица (но не чертами в целом) он напоминал кардинала Ришелье. Именно к этому периоду относятся как пик деятельности генерала, так и связанные с ним тайны. Может быть, его сходство с Ришелье было сходством имеющих тайну? Как бы то ни было, со временем ушло и оно.

Даже беглый взгляд на иллюстративный материал А. Дюпон убеждает в несомненном преобладании фотографий последнего периода жизни генерала Ларионова. Специально старик не снимался, но никогда и не жеманничал, отворачиваясь от встречающих его фотокамер: он относился к ним с полнейшим равнодушием. Такое отношение придавало портретам генерала редкую в данном жанре естественность. Не этой ли естественности в первую очередь стоит приписать две победы, в разное время одержанные фотопортретами генерала на международных конкурсах?

Не приходится сомневаться, что и те, кто абсолютно не знаком с деятельностью генерала и даже не слышал его имени, припомнят черно-белую фотографию старика, сидящего в складном кресле на самом краю мола (Ялта, 1964 год). Она вошла в классику мировой фотографии, подобно паровозу, выпавшему из окна парижского вокзала, подобно маяку среди бушующих волн и т. д. Несмотря на жару летнего дня, старик сидит в белом френче. Он сидит под полупрозрачным тентом, положив ногу на ногу. Носок светлой туфли вытянут вперед параллельно земле и почти сливается с молом, так что кажется, будто стоящий неподалеку маяк балансирует на носке этой изысканной обуви. Взгляд старика обращен вдаль и исполнен особого внимания того, кого не интересуют вещи, лежащие ближе линии горизонта. Этот старик – генерал Ларионов. Что и говорить, в сравнении с такой фотографией все прежние снимки генерала блекнут, становятся невыразительными и в какой-то степени недостойными этого выдающегося человека. То, что в памяти потомков генерал остался в самом, так сказать, зрелом виде, можно считать его безусловной удачей. Большей удачей его жизни было, пожалуй, лишь то, что по окончании Гражданской войны его не расстреляли. Это всегда относили к области необъяснимого.

Но вот что существенно: как раз на этой загадке и решил сосредоточиться историк Соловьев. Здесь можно предвидеть возражения в том роде, что является ли, дескать, историк Соловьев той фигурой, которая способна распутать самый сложный исторический клубок, и стоит ли вообще возлагать какие-либо надежды на вчерашнего студента, да к тому же еще и *self-made man*? Эти возражения не кажутся основательными. Достаточно указать – и этот факт был впервые установлен А. Дюпон, – что А. П. Гайдар в шестнадцать с половиной лет командовал полком. А что уж до *self-made man*, то при широком понимании термина таковым следует считать всякого, кому удалось чего-то в жизни добиться.

В отношении работы Соловьева над собой достаточно упомянуть лишь одну деталь: он сумел изменить свое южнорусское произношение на аристократическое петербургское. Разумеется, в самом по себе южнорусском произношении нет чего-либо зазорного или умаляющего достоинства его носителей (точно так же, скажем, как хромающий московский говор не способен опорочить жителей столицы). В конце концов, М. С. Горбачев перестраивал Россию как раз с южнорусским произношением. В отличие от Соловьева, Горбачев не был историком – он сам творил историю, не слишком заботясь об орфоэпической стороне дела. Что же касается Соловьева, то, шепча на кухне общежития русские скороговорки, он в собственном своем представлении занимался чем-то большим, чем просто постановкой произношения: он изживал в себе провинциализм.

Важную роль в развитии Соловьева сыграл его научный руководитель – знаменитый профессор Никольский. Прочитав первую курсовую работу студента – она была посвящена освоению Россией Дальнего Востока, – профессор пригласил его к себе в кабинет и, ничего не говоря, долго продувал мундштук папиросы *Беломор* (к папиросам он пристрастился на одном именном канале).

– Друг мой, – сказал, закулив, профессор, – наука скучна. Если вы не привыкнете с этой мыслью, вам будет нелегко ею заниматься.

Профессор попросил Соловьева удалить из его курсовой слова *великий, победоносная и единственно возможное*. Он также спросил студента, знакома ли ему теория, согласно которой русские растратили данную им энергию, осваивая нечеловеческие в своей протяженности пространства. Теория знакома студенту не была. До ознакомления с указанной теорией проф. Никольский попросил Соловьева удалить и словосочетание *прогрессивное явление*. Особое внимание автора курсовой было обращено на оформление библиографических и аргументативных сносок. Внимательный взгляд на эту сторону работы показал, что единственной правильно оформленной сноской оказалось «Там же. С. 12».

Если быть предельно откровенным, большинство из сказанного проф. Никольским показалось Соловьеву придирками, и все-таки именно эта беседа положила начало дружбе профессора и студента. Профессор находился в том возрасте, когда его замечания уже не могли быть обидны юноше; непростая же история самого Соловьева заставляла, в свою очередь, руководителя проявлять к своему ученику больше снисходительности.

Проф. Никольский не уставал повторять своему подопечному, что красивые фразы в науке, как правило, ложны, что красота этих фраз основана на их якобы универсальности и отсутствии исключений. Но, – папироса в руке профессора описывала дымящийся эллипс, – это отсутствие – мнимое. Исчерпывающих истин не бывает (почти не бывает, поправлялся профессор, приводя высказывание в соответствие с собственной теорией). На каждое *a* всегда найдется и *b*, и *c*, и что-то такое, что не передается уже никакими буквами. Честный исследователь всё это учитывает, но его заявления перестают быть красивыми. Так говорил проф. Никольский.

Голубоглазый романтизм Соловьева в какой-то момент сменился подчеркнутой склонностью к точности, и это было время открытия им особой красоты – красоты достоверного знания. Это было время, когда работы юноши запестрели огромным количеством исчерпывающих и безукоризненно оформленных сносок. Сноски стали для него не просто поводом выразить уважение к предшественникам. Они открыли ему, что нет ни одной области знаний, где он, Соловьев, был бы первым, и что наука – процесс в высшей степени преемственный. Они были представителями великого всеобъемлющего знания. Они следили за Соловьевым и воспитывали его, заставляя избавляться от приблизительных и неверных утверждений. Они взорвали его гладкое школьное изложение, поскольку текст, как и бытие, не может существовать без оговорок.

Соловьев ставил сноску за сноской и удивлялся, как ему удавалось обходиться без них в начале его научной карьеры. Когда сноски стали сопровождать едва ли не каждое сказанное им слово, проф. Никольский был вынужден его остановить. Он сообщил ему между прочим, что в конце карьеры ученые также обычно обходятся без сносок. Молодой исследователь почувствовал себя обескураженным.

Тихий океан, к которому в своей первой курсовой пробивался Соловьев, не стал, вопреки ожиданиям, его главной темой. Проф. Никольский сумел убедить студента, что важнейшая часть истории проходит на континенте. Лишь хорошее знакомство с ней дает исследователю право временами покидать сушу. В результате непростой внутренней борьбы Соловьев решил повременить с выходом в море.

За пять университетских лет Соловьев вполне проникся Петербургом. Он стал носить добротную, но неброскую одежду (с продвижением на юг – и это ведь не только в России – одежда прибавляет в красках), обозначал власть коротким словом *они* и пристрастился к вечерним прогулкам по Васильевскому острову. Впоследствии, когда он снял комнату на Петроградской стороне (Ждановская набережная, 11), привычка гулять осталась. Закончив работу в библиотеке, он шел домой пешком. Садовая. Летний сад. Троицкий мост. Зимой, когда, в соответствии с названием, Летний сад был закрыт, а статуи заколачивались в ящики, Соловьев выбирал другой путь. По каналу Грибоедова он добирался до Невы и, пройдя мимо Зимнего дворца (открытого, в отличие от Летнего сада, круглый год), поворачивал на Дворцовый мост. Дома ставил на батарею промокшие ботинки. От разбрасываемой дворниками соли к утру они становились белыми.

Соловьев полюбил особый зимний уют Публичной библиотеки: фигуру Екатерины в полузамерзшем окне, довоенные лампы на столах и едва слышный шепот сидящих сзади. Ему нравился непередаваемый библиотечный запах. Он соединял в себе ароматы книг, дубовых стеллажей и вытертых ковровых дорожек. Так пахнет во всех библиотеках. Так пахло в деревенской библиотеке, где брал книги юный Соловьев, – заснеженной, одноэтажной, в полутора часах ходьбы от станции *715-й километр*. Он заходил туда после школы, прежде чем отправиться обратно на свою станцию. Сидел вполборота к столу пожилой библиотекарши Надежды Никифоровны, пока та где-то за шкафами искала ему книги. В ожидании возвращения Надежды Никифоровны рассматривал свои фиолетовые, утонувшие в кроличьей шапке пальцы. Время от времени из-за шкафов появлялась ее голова.

– *Одиссея капитана Блада?*

– Читал.

Он всё читал. Деревенская библиотека стала его первым настоящим потрясением, а Надежда Никифоровна – первой любовью. В отличие от домов при железной дороге, в библиотеке было очень тихо и не пахло шпалами. К сказочному библиотечному настою здесь примешивался запах духов *Красная Москва*. Это были духи Надежды Никифоровны. Если чего впоследствии и не хватало Соловьеву в его петербургской жизни, то, пожалуй, *Красной Москвы*.

– *Дети капитана Гранта?*

От ее тихого голоса по соловьевскому позвоночнику медленно спускались мурашки. Послюнив палец, Надежда Никифоровна вытаскивала из ящика формуляр и вносила необходимую запись. Соловьев зачарованно следил за движением ее крупных, с потускневшими ногтями пальцев. На безымянном блестел перстень с камеей. Ставя книги на полку, Надежда Никифоровна задевала дерево перстнем, и камья издавала глуховатый пластмассовый звук. Столь непохожий на лязганье вагонных сцеплений, в ушах Соловьева этот звук приобрел чрезвычайную изысканность, почти элитарность. Впоследствии он квалифицировал его как первый робкий стук мировой культуры в его душу.

Чаще всего Соловьев приходил в библиотеку не один. Его сопровождала девочка Лиза, жившая в соседнем с ним доме. Лизе не позволялось ходить домой одной и было велено ждать

Соловьева в библиотеке. Она сидела поодаль, молча наблюдая за процессом книгообмена. Иногда брала что-то из прочитанного Соловьевым. Вернувшись домой, Соловьев тут же о Лизе забывал. Он вспоминал все подробности посещения библиотеки и предавался мечтам о супружеской жизни с Надеждой Никифоровной.

Следует подчеркнуть, что в тогдашние его восемь лет мечты эти были вполне целомудренны. Будучи удален от очагов цивилизации (а заодно, по выражению Надежды Никифоровны, и от осевшего в них пепла), Соловьев смутно представлял себе как задачи брака, так и формы его протекания. Единственной его связью с внешним миром как раз и была деревенская библиотека, исключавшая наличие не только эротических изданий, но даже двусмысленных иллюстраций в периодической печати. Такие вещи безжалостно вырезались Надеждой Никифоровной, цензурировавшей новые поступления в нерабочее время.

Нет ничего удивительного в том, что лет пять спустя, с пробуждением инстинктов, Соловьев и Лиза были лишены в *этой* сфере всяческого руководства, продвигаясь в буквальном смысле на ощупь. Впрочем, даже в пору позднейших занятий сексом подросток Соловьев не считал себя изменившим Надежде Никифоровне. Более того, идея брака, столь гревшая его в детском возрасте, и тогда еще не потеряла для него своей привлекательности. Перемена состояла лишь в осознании того, что есть вещи, которых от Надежды Никифоровны требовать не приходится.

Для настоящего повествования небезынтересна фамилия Лизы – Ларионова. Настоящее повествование вообще склонно делать акцент на разнообразных сходствах и совпадениях, поскольку во всяком подобии есть свой смысл: оно открывает иное измерение, намекает на истинную перспективу, без которой взгляд непременно уперся бы в стену. Берясь за исследование жизни и деятельности генерала Ларионова, Соловьев принял во внимание и свое прежнее знакомство с этой фамилией. Он придавал значение подобным вещам. Разумеется, молодой исследователь не мог еще объяснить роли Ларионовых в своей жизни, но уже тогда он чувствовал, что роль эта не будет второстепенной.

Как это чаще всего и бывает с событиями закономерными, научная тема пришла к Соловьеву по случаю. До него эту тему разрабатывал аспирант Калюжный, симпатичный малый, лишенный, правда, всякой исследовательской энергии, да, пожалуй, и энергии вообще. Его усилий хватало лишь на то, чтобы добраться до академической пивнушки и осесть там на весь оставшийся день. К генералу Калюжный относился сочувственно и в отношении его судьбы испытывал несомненное любопытство. Главным, чего он не понимал, было то (указательный палец Калюжного скользил по стеклу бокала), что генерал остался жив. В течение нескольких лет всем, кто подсаживался за его столик, Калюжный пересказывал классическое исследование А. Дюпон. Очевидно, этот долгий пересказ его по-настоящему изматывал, потому что за годы непрерывного повествования им не было написано ни строчки. Собрав последние силы, аспирант Калюжный неожиданно сделал то, на что в свое время так и не решился генерал: он уехал за границу. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Известна, однако, судьба Соловьева, которому, по единогласному мнению коллег, надлежало заменить выбывшего товарища. Уже через несколько месяцев после поступления в аспирантуру на одной из конференций он выступил с докладом *Изучение жизни и деятельности генерала Ларионова: итоги и перспективы*.

И подведенные Соловьевым итоги, и намеченные им перспективы произвели на ученую публику самое благоприятное впечатление. Доклад свидетельствовал не только о хорошо организованном сознании молодого исследователя, но в равной степени и о его глубоком проникновении в тему. Апогеем доклада, вызвавшим в зале чрезвычайное оживление, стало внесение поправок в данные, приведенные в монографии А. Дюпон и до того дня считавшиеся незыблемыми.

Так, оказалось, что в 136-м Таганрогском полку 34-й пехотной дивизии числилось не 483 солдата, как это утверждала А. Дюпон, а только 469. Выяснилось также, что количество солдат 2-й Туземной дивизии Сводной кавалерийской бригады было французской исследовательницей, наоборот, преуменьшено – 720 (в то время как истинное количество – 778). Не вполне прояснена у А. Дюпон и роль в Крымской кампании полковника Я. Д. Нога (1878–?), но при этом явно преувеличена образованность офицера: исследовательница ошибочно указывает, что Я. Д. Нога окончил Владимирский и Киевский кадетские корпуса, в то время как он окончил лишь Владимирский (т. е. имени св. Владимира) Киевский кадетский корпус. Соловьевым был выдвинут и ряд более мелких замечаний к французской монографии, но в данном случае, думается, допустимо ограничиться и приведенными. Даже они в достаточной мере характеризуют качество работы молодого ученого и его нежелание слепо доверять авторитету предшественников.

Это был звездный час Соловьева. Притаившись за мраморной колонной конференц-зала, доклад Соловьева слушала А. Дюпон. По свидетельству всех, в этот момент ее видевших, глаза французского историка были на мокром месте. Человек, менее преданный науке, на все внесенные Соловьевым поправки мог бы обидеться. Он мог бы ожесточиться или, пожалв, чего доброго, плечами, презрительно хмыкнуть. Сказать, допустим, что для объяснения крымских событий 1920 года перечисленные уточнения имеют ценность весьма относительную. Не такова была А. Дюпон. Под фразу Соловьева «Благодарю за внимание» она выбежала из-за колонны и обняла докладчика. Это горячее научное объятие, соединившее в себе и всхлипывания, и потекшую тушь, и покалывание усов, – не было ли оно торжеством истинных ценностей, свидетельством нерушимости великого интернационала исследователей?

Стоя за трибуной с потекшей по лицу тушью, А. Дюпон вспомнила всех, кто в разное время посвятил себя исследованию послереволюционного периода. С особым чувством она упомянула о И. А. Рациморе, задумавшем, но не успевшем завершить монументальную *Энциклопедию Гражданской войны*⁴.

– Он умер на букве К, – сказала о покойном А. Дюпон, – но, если бы он смог продержаться хотя бы еще одну букву, уровень наших знаний о генерале Ларионове был бы иным, совершенно иным. А сейчас, – и с этими словами исследовательница снова привлекла к себе Соловьева, – мы видим свою достойную смену. Теперь мы можем спокойно уйти.

Вежливый Соловьев хотел было возразить француженке, попросить ее и впредь заниматься столь важной для всех работой, но она не дала ему этого сделать. Взмахом огромной руки она словно из воздуха извлекла свою монографию о генерале и с силой прижала ее к груди Соловьева. Поцеловав его напоследок еще раз, маршевым шагом А. Дюпон пересекла конференц-зал и скрылась в полумраке коридора.

Она позвонила ему из Парижа. В молодом исследователе ее интересовало буквально всё: взгляды на историю в целом, пристрастия в области методологии и даже – что было совершенно уж неожиданным – его материальное положение. В отличие от всех прочих сфер, на вопрос о материальном положении вразумительного ответа у Соловьева не нашлось. Резюме относительно материального положения было сделано самой А. Дюпон: у русского ученого оно попросту отсутствует.

Потрясенная этим обстоятельством, А. Дюпон занялась поиском причин столь безрадостного положения вещей. Стоя на позициях детерминизма, представительница французской исторической науки выстроила длинную причинно-следственную цепочку. Нет смысла приводить ее полностью: упомянутые исследовательницей события известны любому русскому школьнику. Стоит остановиться разве что на нескольких основных принципах, эту цепочку характеризовавших.

⁴ Рацимор И. А. Энциклопедия Гражданской войны. А – К. Париж; Н. Новгород, 1991.

Движение нашего общества определялось несколькими факторами, из которых, по А. Дюпон, ключевую роль играли недостаточная расположенность к труду, склонность к присвоению чужого имущества и обостренное чувство справедливости. В голове исследовательницы выстроенная причинно-следственная цепочка в конце концов свернулась в форму круга, который та по зрелом размышлении признала заколдованным.

Положение дел рисовалось и в самом деле не радужным: присвоение чужого имущества донельзя обостряло в обществе чувство справедливости, что, в свою очередь, резко снижало его, общества, расположенность к труду. Разумеется, последнее обстоятельство не могло не стимулировать склонности к присвоению чужого имущества, а это автоматически приводило к еще большему обострению чувства справедливости и еще меньшей расположенности к труду. В этом контексте исследовательницей рассматривались и разрушительные русские революции, и многолетнее правление коммунистов (по ее оценке, не менее разрушительное), и целый ряд иных событий.

Сочетание указанных факторов, само по себе взрывоопасное (*"Molotoff cocktail!"* – вздыхала А. Дюпон), усугублялось и фактором персональным. По колеблющейся сцене русской истории проследовал ряд лиц, сумевших довести все противоречия до крайнего уровня. Особое место среди них занял исторический деятель, с точки зрения француженки, явно злоупотреблявший дирижированием. Успех берлинского выступления так вскружил ему голову, что ни о чем, кроме дирижерской палочки, он с тех пор уже не думал. Под ее легкий взмах присвоение чужого имущества в конце концов достигло той точки, на которой чувство справедливости больше не обостряется, а расположенность к труду уже не снижается.

Выстраивая свою причинно-следственную цепочку, в целом ряде вопросов А. Дюпон, несомненно, запуталась. Так, она продемонстрировала явное преувеличение роли личности в истории, вызванное, вероятно, тем, что история, над которой работала она сама, была историей генерала⁵. Кроме того, камнем преткновения стала для нее диалектика необходимого и случайного, столь важная для правильной оценки исторических событий. На материале русской истории она так и не смогла в ней разобраться. В какой-то момент ей вообще стало казаться, что необходимость в нашей стране является до определенной степени случайностью. Иными словами, она так и не смогла внятно сформулировать причину нищенского существования Соловьева. И тогда всю свою неумную энергию А. Дюпон перенесла на работу со следствием. Поиск ответов на проклятые русские вопросы она заменила поиском денег для нужд молодого ученого.

После недолгих раздумий французская исследовательница обратилась к Всероссийскому фонду науки, смутно надеясь, что именно этот институт восполняет всё то, что недодало своим ученым государство. После краткой московской беседы – а знающие люди советовали общаться с сотрудниками фондов исключительно лично – заявленную тему исследования эксперты фонда сочли недостаточно всероссийской. Прощаясь («На нашей встрече лежала тень какой-то недоговоренности!» – жаловалась впоследствии А. Дюпон), они порекомендовали своей гостье обратиться в Российский фонд работников науки.

В Фонде работников науки А. Дюпон выслушали более благосклонно и даже напоили чаем с сушками *Столичные*. По ходу дела ее спросили, не является ли она сотрудником или хотя бы экспертом каких-либо французских фондов. Узнав, что с французскими фондами А. Дюпон дела не имеет, у исследовательницы уточнили, кто именно из Всероссийского фонда науки порекомендовал ей обратиться в Российский фонд работников науки и что при этом говорил. Удивленная вопросом, а главное – необычным тоном вопрошавшего, А. Дюпон поперхнулась, и ее колотили по спине до тех пор, пока злополучный фрагмент сушки *Столич-*

⁵ Стоит ли удивляться, что в своих политических взглядах А. Дюпон всегда представляла убежденной голлисткой.

ной не покинул горла парижанки. После этого ее уже ни о чем не спрашивали, а подали пальто и галантно поцеловали руку: в Москве, кстати говоря, это делают не хуже, чем в Париже.

Еще одну попытку помочь петербургскому аспиранту А. Дюпон предприняла, связавшись по телефону с Фондом им. С. М. Соловьева. Фонд имени великого русского историка, по мысли француженки, не мог отказать в поддержке историку же, да еще молодому, да еще с такой же фамилией. Как ни странно, именно фамилия стала в этом случае камнем преткновения. Боясь обвинений в семейственности, на том конце провода отказались подобное обращение даже рассматривать. Подивившись щепетильности российских фондов⁶, А. Дюпон задумчиво повесила трубку.

Наконец, по совету коллег она обратилась к какому-то американскому предпринимателю, якобы человеку контрастов, перемежавшему биржевые спекуляции с филантропической деятельностью. Вполне вероятно, что контрасты были преувеличены, поскольку по сведениям, достигшим ее позже, филантропическая деятельность каким-то непонятным образом оказывалась одной из самых прибыльных статей его предпринимательства. Как бы то ни было, А. Дюпон обратилась к нему с большим письмом, где отметила тщательность работы ученого, перечислив среди прочего внесенные последним поправки относительно личного состава подразделений.

К чести адресата, ответ не заставил себя долго ждать. В пришедшем от него письме трудолюбию и внимательности Соловьева давалась самая высокая оценка. Вместе с тем филантроп указывал, что, поскольку его по преимуществу интересуют сведения о действующих ныне армиях, данные за 1920 год для него не представляются актуальными.

Разумеется, даже такой галантный отказ не мог устроить человека, прозванного коллегами *mon general*. А. Дюпон пошла на новый штурм и написала меценату письмо гораздо большего объема. В этом письме подробнейшим образом рассматривалась суть каждой из внесенных Соловьевым поправок – с историческими параллелями и краткой статистикой по сопоставимым подразделениям европейских армий. Что же касается актуальности данных, то предприимчивый филантроп был ознакомлен с одной весьма древней точкой зрения, согласно которой всё в истории повторяется. Подвергнув указанную теорию конструктивной критике, А. Дюпон тем не менее указывала, что вовсе не исключает возможности создания однажды в Крыму армии с точно таким же численным составом. Единственное, с чем исследовательница категорически отказывалась согласиться, – это возможность (даже теоретическая) появления на полуострове второго генерала Ларионова. Завершая свое письмо, она, дабы исключить всякие недомолвки, даже указала, что люди, подобные генералу, рождаются раз в тысячу лет.

Неизвестно, что уж здесь подействовало больше – экскурс ли в область философии истории, решимость исследовательницы отстаивать свою позицию или самый объем письма, – только предприниматель-филантроп ответил согласием. В ответном письме он даже мило пошутил, что замечание исследовательницы относительно подобного Ларионову генерала хотя и исключает возможность его появления в ближайшем будущем, но вселяет определенные надежды на период после 2882 года. В ожидании этой благословенной эпохи на всё время аспирантуры (т. е. на три года) он назначал Соловьеву небольшую, но достаточную для скромной жизни стипендию. Это была настоящая победа.

Известием о стипендии Соловьев был сражен наповал. Он ничего не знал о хлопотах француженки и, услышав о таком подарке, почувствовал себя по-настоящему счастливым. Фраза о том, что стипендия рассчитана на скромную жизнь, не могла омрачить его радости. С одной стороны, жизнь Соловьева всегда была скромной, а с другой – он справедливо полагал, что его представления о скромности сильно отличались от представлений его благодете-

⁶ Об этом см.: *Откатов У. Е.* Научные и благотворительные фонды: формы взаимопомощи // Вопросы развития российского фондового рынка. 2000. № 3. С. 231–280.

лей. При всей своей информированности они даже не догадывались, до какой степени скромна жизнь ученого в России⁷.

– Вы должны ехать в Ялту, – сказала стипендиату А. Дюпон. – В столицах я всё просмотрела вдоль и поперек, а до Крыма добраться не удалось. Если где и можно найти что-либо новое, то это Ялта.

Сказано это было в начале июля. Недели три Соловьев занимался систематизацией своих бумаг. По ходу дела выяснилось, что в августе в Керчи должна состояться конференция *Генерал Ларионов как текст* (по странному совпадению ее должен был финансировать Фонд им. С. М. Соловьева), и, несмотря на причудливое название, он послал туда свою тему.

Почувствовав себя готовым к работе в крымских условиях, Соловьев обратился к директору института за командировкой. По тому, как директор задумчиво покусывал дужку своих очков, Соловьев понял, что такая командировка не представлялась ему бесспорной. Тут только впервые за три недели молодой ученый вспомнил, что Ялта – курортный город, и ему стало неловко. Соловьев стал было объяснять повод своей поездки с неожиданной для академического учреждения горячностью (от волнения он даже забыл упомянуть о конференции), но директор, отпустив дужку, уже согласно махнул ею в воздухе. В конце концов, все последние годы командировки за неимением денег не оплачивались и являлись не более чем разрешением отсутствовать в институте. Это разрешение Соловьев получил.

Он покинул помпезное здание института и не спеша двинулся по Тучковой набережной. Свернув в один из переулков, неожиданно для себя оказался в кафе. Соловьев не смог вспомнить, когда был в кафе последний раз, и с удивлением констатировал, что жизнь его становится менее скромной. Устроенный самому себе ужин Соловьев рассматривал как прощальный. У него уже имелся железнодорожный билет, который он, запуская руку в карман пиджака, не без удовольствия ощущал. Для командировки в Ялту август был, несомненно, самым подходящим месяцем.

⁷ Подробнее см.: Придворов Е. А. Бедные люди. Кимры, 2006.

2

Уже на следующий день поезд *Санкт-Петербург – Симферополь* уносил Соловьева на юг. Излишне говорить, что поезд для молодого историка не был обычным транспортным средством. Жизнь его складывалась так, что любой, кто способен читать по руке, параллельно с линией судьбы увидел бы на ладони Соловьева линию железной дороги. Проносившиеся мимо маленькой станции поезда первыми открыли ему существование большого и нарядного мира за ее пределами.

С железной дорогой были связаны первые запомнившиеся Соловьеву запахи и звуки. Гудки тепловозов будили Соловьева по утрам, вечерами же его убаюкивал ритмичный стук колес. При прохождении поезда кровать его мелко дрожала, а по потолку бежали отраженные огни купе. Засыпая, он переставал различать, где именно – здесь или за окном – осуществлялось это плавное, но шумное движение. Кровать позвякивала железными набалдашниками на спинках и, медленно набирая скорость, везла Соловьева к его радужным детским снам.

По табличкам поездов дальнего следования (это определение на станции никогда не сокращалось) Соловьев учился читать. Стоит отметить, что именно скоростью поездов были обусловлены его навыки скорочтения, впоследствии облегчившие ему знакомство с публикациями о генерале, столь же многочисленными, сколь и фантастическими. Из этих же табличек Соловьев впервые узнал о существовании целого ряда городов, к которым под самыми его окнами и бежали рельсы, с одной стороны ведущие строго на север, с другой – строго на юг. Посредине мира лежала станция *715-й километр*.

На поезда Соловьев ходил смотреть с Лизой Ларионовой. Поднявшись на платформу, они садились на давно потерявшую цвет лавку и принимались наблюдать. Они любили, когда поезда дальнего следования сбавляли возле станции скорость. Тогда можно было рассмотреть не только таблички, но и свернутые матрасы на полках, стаканы в подстаканниках, а главное – пассажиров, представителей того загадочного мира, откуда и появлялись поезда. Нельзя сказать, что поездам они радовались оттого, что так уж стремились в неизвестный им мир. Скорее, их увлекала сама идея дальнего следования.

К электричкам и товарным поездам, изредка проносившимся мимо станции, они относились спокойнее. Публика в электричках была им более или менее знакома, а что уж до поездов товарных, то там и вовсе не было публики. Это были самые длинные и скучные из всех поездов. Они состояли из залитых нефтью цистерн, платформ, груженных лесом, или просто закрытых наглухо дощатых вагонов.

Уже в самом раннем возрасте Соловьев знал расписание всех проходивших мимо станции поездов. Эти сведения, способные кому-то показаться бесполезным грузом, сыграли в жизни будущего историка немалую роль. Во-первых, с самого начала сознательной жизни Соловьеву был привит вкус к достоверному знанию. Во-вторых, безошибочное владение расписанием воспитало в Соловьеве обостренное восприятие времени, столь необходимое для настоящего историка. Числа, которыми оперировало расписание, никогда не были круглыми. В этих данных не было места для приблизительных обозначений вроде *после обеда*, *в первой половине дня* или *около полуночи*. 13:31, 14:09, 15:27 – и только. Эти растрепанные края времени, неприглаженные, как само бытие, обладали особым рода красотой – красотой истинности.

Владение Соловьева расписанием не было случайным. На прилегавшем к станции переезде его мать работала регулировщицей. И хотя регулировать там было особо нечего (переезд мог не пересекаться сутками), за три минуты до появления всякого поезда мать Соловьева опускала шлагбаум и, надев свой форменный китель, выходила на балкончик регулировочной будки. В неестественно прямой ее фигуре, в неподвижности, в суровых чертах лица было что-то капитанское. Иногда среди ночи он просыпался от шума поезда и смотрел из окна на свою

мать. Его завораживало это непоколебимое стояние с поднятым жезлом. Именно так, в профиль, она и отпечаталась в его памяти – в грохоте поезда, в свете мелькающих огней. Когда впоследствии Соловьев прочитал о церквях заброшенных северных деревень, о том, как священник служит там в пустом храме, он подумал, что это – и о его матери. Ее беззаветное, без всякой видимой цели служение протекало неизменно, как восход солнца. Независимо от смены правительств, времени суток или погодных условий.

Впрочем, именно погодные условия оказались для нее фатальными. В одну из морозных зимних ночей она сильно продрогла и заболела воспалением легких. Вначале лечилась водкой и медом. Ее мать, бабушка Соловьева, время от времени брала жезл и отправлялась замещать свою дочь на переезде. Какое-то время спустя, когда больной стало хуже, старуха растирала ей спину и грудь, распространяя по дому удушливый запах скипидара. Через несколько дней мать Соловьева неожиданно сказала, что умирает. В этой семье было не принято преувеличивать, и старуха обеспокоилась. Посылать в ближайшую деревню смысла не имело: никого, кроме пьяного фельдшера, там не было. Старуха побежала к будке регулировщика, чтобы остановить поезд. Мать Соловьева умерла, а она всё еще махала жезлом своей дочери. Ни один поезд не остановился.

Поезда почти никогда не останавливались. Лишь изредка, преимущественно летом, когда железнодорожная ветка была перегружена, тяжело вздыхая, составы причаливали к станции. На выщербленные плиты платформы по-хозяйски сходили проводники. За ними – толстяки в майках, женщины в обтягивающих тренировочных брюках. Реже – дети. Детей обычно не пускали дальше тамбура, где они рвались из рук задумчивых бабушек. Взрослые курили, пили пиво прямо из бутылок и звонкими шлепками уничтожали комаров. Когда дети все-таки оказывались на платформе, маленький Соловьев убегал, но продолжал следить за происходящим из кустов. В такие минуты за прибывшим поездом следил не только он. Все шесть окружавших станцию домов обращались в зрение и слух. Их обитатели прижимались к окнам, стояли в дверях или, делая вид, что копаются в огороде, бросали на приезжих короткие взгляды. Подходить к самой платформе не было принято.

На виду у пассажиров находилась только мать Соловьева – пока была жива. Пассажиры, чей праздный вид усугублялся сосредоточенным стоянием железнодорожницы, даже не пытались ее окликать. С первого взгляда было понятно, что эта неподвижность – особого рода. Не обращая внимания на пассажиров, мать Соловьева вглядывалась туда, где сходились рельсы, – словно высматривала прибытие скорой своей смерти. Читая впоследствии о знаменитом взгляде престарелого генерала, Соловьев представлял его без малейших усилий. Он вспоминал, как смотрела вдаль его мать.

Бабушка Соловьева так не смотрела. Ей вообще не были свойственны взгляды вдаль. Чаще всего она сидела, подперев щеку ладонью, и смотрела перед собой. Она пережила свою дочь на несколько лет и умерла незадолго до окончания Соловьевым школы. Эта смерть толкнула его к переезду в Петербург. В Петербурге он впервые услышал о генерале Ларионове.

Вообще говоря, неслучайно то, что и Соловьев, и Ларионов были детьми железнодорожников. Может быть, как раз это, несмотря на всё внешнее различие, определило и некоторые сходные их черты. Миссия железнодорожника в России – особая, потому что и роль железных дорог у нас не такая, как в других странах. Время нашей езды измеряется сутками. Его достаточно не только для хорошей беседы, но – в удачных случаях – даже для устройства судьбы. Какую судьбу можно устроить в экспрессе *Мюнхен – Берлин* – в стоящих друг за другом креслах с радиорозетками на подлокотниках? Скорее всего, никакую.

Все, кто так или иначе связан с железной дорогой, – люди по преимуществу взвешенные и неторопливые. Они знают толк в преодолении пространства. Эти люди умеют прислушиваться к размеренному стуку колес и никогда не станут суетиться: они понимают, что у них еще есть время. Вот почему и самые серьезные из иностранцев выбирают раз в году недельку-другую,

чтобы прокатиться по Транссибирской магистрали. Стоит ли говорить, что такие люди решительно предпочтут самолету поезд – во всех случаях, кроме трансатлантических. Американцы не оставляют им никакого выбора.

У отца генерала Ларионова возможности выбирать тоже не было. К моменту, когда он решил связать свою жизнь с железной дорогой, самолеты еще попросту не летали. Строго говоря, и сама железная дорога не стала еще делом вполне обыденным. Для пользования ею от пассажира требовалась не только определенная доля мужества, но и прогрессивное умонстроение. Обладая указанными качествами в полной мере, директор департамента железных дорог Ларионов половину своего служебного времени проводил на колесах. Ему полагался особый вагон-салон первого класса, который цеплялся к хвосту поезда. В этом вагоне он отправлялся и на отдых в Крым. Будучи человеком щепетильным, проезд своей семьи в этом вагоне директор департамента оплачивал – вопреки уговорам железнодорожных служащих, считавших, что льготы распространяются и на нее. Гувернантка ехала во втором классе того же поезда, а прислуга – в третьем. Последнее обстоятельство служило впоследствии поводом для различных спекуляций и даже выводов об открыто недемократическом характере отношений в доме Ларионовых.

В ответ на подобное обвинение можно сослаться на мнение И. А. Рацимора, указавшего, что по ряду причин сословная идеология в конце XIX в. преобладала над демократической⁸. Исследователь высказал также предположение, что демократия не является понятием универсальным и в общем-то не обязана характеризовать все времена и народы. Установленная в не подготовленных для нее странах, она способна принести самые печальные плоды. По убеждению историка, четкость сословного деления России регулировала общественные отношения гораздо эффективнее демократических процедур. На материале биографии генерала он убедительно продемонстрировал, что, будучи кадетом, Ларионов был обязан ездить во втором классе, а, став юнкером, – только в третьем, поскольку юнкера уже рассматривались как нижние армейские чины и в два других класса не допускались⁹.

Относительно демократизма в семье Ларионовых высказывались и менее радикальные точки зрения. Так, аспирант Калужный в устной форме предположил, что особенности раскладки ехавших на юг определялись не столько мнением Ларионова – директора департамента, сколько присутствием на вокзале генерала Ларионова-старшего, неспособного якобы смириться с пренебрежением к сословному устройству России. Последний и впрямь был известен своим консерватизмом, выражавшимся, в частности, в презрительном отношении к железной дороге. Железнодорожная сфера представлялась ему недостойной их рода и в слезящихся глазах ветерана представляла чем-то вроде циркового аттракциона. Лишь должность директора департамента вносила в работу его внука определенную серьезность и отчасти примиряла старика с этим странным выбором. И хотя ездить на поездах герой Бородина считал для себя неуместным, он неизменно прибывал на Царскосельский вокзал проводить свою семью в дорогу. Пройдясь на своей деревяшке вдоль ряда вагонов, он с неожиданной робостью останавливался у паровоза и долго смотрел на вырывающийся из котлов пар. Потом демонстративно пожимал плечами, наскоро крестил домашних и, отзываясь эхом в металлических сводах, решительно ковылял на выход. Следует полагать, что в такие минуты он меньше всего думал о рассадке пассажиров.

⁸ Рацимор И. А. Ростки демократии в русской военной среде конца XIX – начала XX вв. // Военное дело. 1992. № 3. С. 55–83.

⁹ Выходя в своих обобщениях за пределы ларионовской тематики, И. А. Рацимор отмечал, что осязательная печать убожества, лежавшая на большинстве деяний советской власти, основанием своим имела прежде всего потерю сословной ориентации. Не сумев управлять государством, кухарки, по убеждению исследователя, еще и совершенно разучились готовить. Из всех пристрастий прежней элиты новая, ввиду несомненных способностей к стрельбе, смогла перенять лишь охоту.

В памяти будущего генерала эти поездки сохранились как одна из самых светлых страниц его детства. В найденных и опубликованных А. Дюпон *Набросках к автобиографии* генерал Ларионов подробно описывает железнодорожные путешествия своего детства¹⁰. Наибольшее его восхищение вызывал сам вагон: с начищенными до блеска медными ручками, дубовыми панелями, а главное – стеклянной задней стенкой, открывавшей всё пространство пройденного пути. Малолетнему Ларионову казалось, что предоставленный им вагон, словно гигантский паук, имел свойство вырабатывать две стальные нити, со скоростью убегавшие из-под него и смыкавшиеся на горизонте.

С особой остротой ребенком воспринимались закаты, дарившие свои феерические краски лесу по обе стороны железнодорожного полотна. С каждой минутой краски меркли, деревья мрачнели и подходили к полотну всё ближе. Будущему генералу, знакомому с русскими народными сказками не понаслышке, движение поезда напоминало бегство из заколдованного леса. Вцепившись в никелированную ручку кровати, он с тревогой наблюдал за покачиванием еловых крон, с которых, по его мнению, и было удобнее всего атаковать невидимому противнику. Только спустя время, когда становилось совсем темно, а стеклянная стенка начала отражать уютную роскошь вагона, дитя успокаивалось и, разжимая затекшие пальцы, отпускало никелированную ручку. На этом жесте генерал Ларионов поймал себя впоследствии, когда летним вечером 1920 года отпустил ручку люка бронепоезда. С замершего поля тянуло полынью. Бой сменился внезапной тишиной, и только откуда-то снизу, из недоступных глазу недр вагона, доносились задумчивые металлические звуки.

Его крымские бои оканчивались так же внезапно, как начинались. Это были бои в пути, такие же непредсказуемые, как движение генеральского бронепоезда по Крыму. Ларионова нередко упрекали в злоупотреблении железнодорожным транспортом, что с определенной оговоркой можно признать справедливым. Оговорка же состоит в том, что сеть железных дорог в Крыму не слишком развита и по сей день. Центральная часть Крыма связана, как известно, всего лишь с тремя городами побережья – Керчью, Севастополем и Евпаторией. Из этого следует, что злоупотребления генерала даже в худшем своем проявлении могли носить весьма ограниченный характер.

Существовала, однако, и положительная сторона генеральского пристрастия. Стесняемый нехваткой железнодорожных путей, генерал Ларионов активно взялся за их постройку. Так, еще в докрымский период в качестве пробы им была сооружена узкоколейка в лесу под Киевом¹¹. В железнодорожную же историю Крыма он вошел прежде всего как человек, построивший полноценное железнодорожное полотно от Джанкоя до Юшуня.

Детские впечатления генерала оказались настолько сильны, что даже местом своего обитания в Крыму он избрал бронированный вагон. Об этом вагоне сложена масса легенд, но из всего известного документально подтверждается лишь проживание в нем четырех птиц (журавля, ворона, ласточки и скворца), а также посещение гостеприимного вагона А. Н. Вертинским, спевшим генералу знаменитый романс *Я не знаю, зачем и кому это нужно*. По свидетельству присутствовавших, уже тогда у генерала Ларионова отмечался его специфический нездешний взгляд, отразившийся, в частности, на фотографии 1964 года и напомнивший историю Соловьеву взгляд его покойной матери¹².

Проносясь мимо переездов, будок и регулировщиц с жезлами, Соловьев вспомнил этот взгляд в очередной раз. Он стоял у открытого окна, а справа от него подстреленной птицей трепетала занавеска. По руке его, ощущавшей металлическую прохладу рамы, бежали волны освещенных солнцем волосков. Ему казалось, что они грубели на знойном августовском ветру,

¹⁰ Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии / Вступ. статья и комм. А. Дюпон. СПб., 1996.

¹¹ Об этом см.: *Островский Н.* Лес. Боярка, 1927.

¹² См.: *Воронов А. А.* Голубой вагон // Материалы к истории Гражданской войны. М., 1994. Т. 18. С. 12–25.

что яркий их блеск был зна́ком постепенного превращения в медь. На минуту он прижался к волоскам губами, как бы оценивая их проволоочные свойства, но они оказались на удивление мягкими.

Соловьев был самым настоящим пассажиром поезда дальнего следования. Не вынимая ложки, он пил чай из стакана в подстаканнике, ходил в туалет с полотенцем на плече и прогуливался на станциях в футболке Петербургского университета. Но главное – впервые в жизни он ехал в купейном вагоне. Закрывая на ночь двери купе, он мимоходом полюбовался своим отражением в зеркале. За его спиной отразились также лампочки нижнего света, бутылки с надетыми на них пластиковыми стаканчиками, молчаливый господин в спортивном костюме и две молоденькие студентки. Все те, кто, собственно, и создавал щемящий железнодорожный уют, краткое единение перед расставанием навсегда. Лежа на верхней полке, Соловьев с наслаждением слушал шепот студенток. Он сам не заметил, как заснул.

Проснулся от света, падавшего ему на лицо. Поезд стоял. Окно Соловьева помещалось под станционным фонарем. Медленно, чтобы не разбудить спавших, он опустил тугую раму, и в купе повеяло теплым ночным ветром. Ветром Центральной России, абстрактно подумалось Соловьеву, не знавшему места остановки. Название пустынной станции скрывалось во мгле: фонарь, горевший у окна, был, похоже, единственным. Но безлюдность этого пространства была мнимой. В глубине станции, где на фоне темных контуров здания робко поблескивали оконные стекла, протекала негромкая беседа двух людей. Скользя в теневую часть полки, Соловьев разглядел на лавке их неподвижные, обращенные друг к другу фигуры. В этой согбенности, в лежащих на ладонях подбородках ему виделось что-то чрезвычайно знакомое, чего он, однако, не мог вспомнить.

Они вели беседу, предельно связанную с местом стоянки поезда. Перечислявшихся ими лиц знали, несомненно, только здесь, да и упомянутые сидевшими детали без долгой предварительной жизни здесь же вряд ли могли быть поняты, но мучительное ощущение дежавю не покидало Соловьева. Пытаясь выяснить, где он видел такие же фигуры, Соловьев перебирал в памяти все станции и полустанки, через которые ему случилось проезжать, но ничего подобного не вспомнилось. Получалось даже, что на каждой из виденных им станций дела складывались по-разному. Повсюду (и даже, может быть, в одно и то же время) там сидели совершенно разные люди, из чего, в свою очередь, следовало, что, остановись поезд на ста ночных станциях, он услышал бы сто разных историй. От такого многообразия бытия голова начинала кружиться.

Между тем беседовавшие замолчали. Сидевший справа достал сигареты и угостил собеседника. Напоминая семафор на переезде, во тьме попеременно возникали два огонька.

– Херня всё это, – сказал сидевший слева.

Соловьев вспомнил, где он видел такие же фигуры. Это были химеры собора Нотр-Дам на обложке учебника истории.

В три часа следующего дня поезд прибыл в Симферополь. В столице Крыма шел дождь. Вероятно, он начался только что, потому что от горячего асфальта всё еще поднимался пар. Выстояв небольшую очередь в кассу, Соловьев купил троллейбусный билет до Ялты. Он решил воспользоваться необычным, может быть, единственным в мире троллейбусным сообщением между городами. Такой путь из Симферополя в Ялту в свое время удивил даже генерала Ларионова, дожившего до дня пуска троллейбуса и к тому моменту давно не удивлявшегося. Фантазия его, исторически ограниченная железной дорогой, никогда не подсказывала ему возможности междугородного сообщения такого рода.

Генерал отлично помнил экипажное сообщение (контора его помещалась на первом этаже гостиницы *Ореанда*), как помнил он экипажи на резиновом ходу и перепряжку лошадей в Алуште. Он не сразу понял, почему заменой всему этому стал именно троллейбус. Он трезво отдавал себе отчет в том, что, в отличие от железной дороги, троллейбусная линия не годилась

для переброски тяжелого вооружения или сколько-нибудь значительного количества войск. Вместе с тем, даже несмотря на отсутствие у троллейбусной линии стратегического значения, в конце концов генерал стал относиться к нововведению совсем неплохо и как-то весной проехал на троллейбусе до Гурзуфа.

Когда подошел троллейбус, Соловьев в соответствии с купленным билетом устроился на заднем сиденье у окна. Пассажиры входили через переднюю дверь и складывали багаж на задней площадке, окончательно приваливая не открытую при посадке дверь. В троллейбусе ехали почти сплошь отдыхающие. Они шумно откидывались на сиденья и вытирали пот краями футболок. Исключение, судя по всему, составляли только рабочий с девочкой лет десяти, сидевшие недалеко от Соловьева. Они были почти без вещей.

Несмотря на дождь, духота не спадала. Лишь когда троллейбус выехал за город и набрал неожиданную для такой машины скорость, стало легче. Словно по команде, пестрые нейлоновые занавески выбросило наружу, и они бились о стекла с внешней стороны. Это синхронное махание придавало троллейбусу праздничный, какой-то даже свадебный вид. При подъеме на Чонгарский перевал дочку рабочего стало тошнить. Отец достал из коробка спичку и посоветовал было ее сосать. Народное средство оказалось бессильно. Девочка посмотрела на спичку, на извлекшие ее заскорузлые пальцы, и ее вырвало.

За Чонгарским перевалом погода совершенно изменилась. Тучи с дождем остались за северной стороной хребта, и в лобовое стекло троллейбуса, начавшего осторожно спускаться по серпантину, ударило солнце. В тот день природа сделала всё, чтобы потрясти Соловьева. Солнце, так неожиданно сменившее дождь, не просто сияло в безупречно голубом небе. И солнце, и небо зеркально отражались где-то далеко внизу, переливаясь бескрайней мозаикой сквозь проплывающие в окне кипарисы. Так Соловьев впервые увидел море.

Разумеется, к тому моменту ему уже были известны детские воспоминания генерала Ларионова, найденные в одном из эмигрантских архивов и опубликованные всё той же А. Дюпон. Несмотря на фрагментарность этого текста и высказанное автором намерение коснуться более зрелого своего возраста¹³, там сохранилось описание первой встречи генерала с морем. Из этого описания следует, что до Ялты семейство будущего военачальника добиралось также из Симферополя, хотя и тогда уже существовала возможность прибыть по железной дороге в Севастополь и оттуда ехать в Ялту вдоль побережья.

Пятилетнему Ларионову удалось запомнить, что его семья перемещалась в двух рессорных колясках. Слово *рессорная* он очень хорошо запомнил, потому что повторял его всю дорогу (как уже отмечалось, до трех с половиной лет дитя не говорило, но впоследствии усиленно наверстывало упущенное). Коляской Ларионова-младшего управлял пожилой татарин, красивый и нарядно одетый человек, во владении русским уступавший всем седокам без исключения. Будучи по природе своей общительным, он живо реагировал на слово *рессорная* и всякий раз перегибался на козлах, показывая кнутовищем местонахождение рессор. В сознании мемуариста возница так и остался склоненным набок, с мелкими каплями пота на лбу и доброжелательной улыбкой.

Подобно Соловьеву, будущий генерал тоже удивился резкой смене погоды на Чонгарском перевале. В опубликованных записках также упомянута игра солнечных бликов на волнах сквозь медленно двигавшиеся кипарисы. Особо отмечена свежесть ветра, дувшего не из пыльных придорожных рощ, а из того прохладного бирюзового пространства, где небо незаметно сходилась с водой. От ветра трепетали светлые пряди его английской гувернантки, легкое платье его матери и вплетенные в гриву лошади разноцветные ленты.

Ассоциативная память генерала заставляет его сказать также о пронизывающем ветре на Чонгарском перевале 1 ноября 1920 года, когда измученные неравными боями остатки защит-

¹³ На этом, среди прочего, и базировалась убежденность А. Дюпон в существовании потерянного продолжения.

ников Крыма отступали к портам. По предположению А. Дюпон, более подробное описание эвакуации помещалось в не дошедшей до нас части воспоминаний. В пользу этого говорит брошенный генералом смутный намек, который можно рассматривать как намерение вернуться к затронутой вскользь теме. Ноябрьских же событий генерал касается только потому, что, следя с метельного Чонгара за отступлением Белой армии (в тот момент она была белее, чем когда-либо), он, по его собственному признанию, не видел ничего, кроме двух рессорных колясок, неторопливо спускавшихся к морю.

Троллейбус поехал вдоль берега. Теперь пассажиры не только видели море, но и ощущали его солоноватую свежесть. Раз два по требованию милиции все машины на шоссе останавливались, пропуская правительственные кортежи. В проносившихся на огромной скорости машинах скорее угадывались, чем виднелись озабоченные лица министров. Они ехали на отдых и думали о том, что финансирование полуострова существенно ухудшилось. Это сказало прежде всего на состоянии дворцов русской знати. Не лучшим было и состояние дорог. Летнее солнце и зимние дожди вкупе с процессом эрозии проделали в крымских дорогах бесчисленное множество выбоин и трещин. Если где эти трещины и заделывались, то лишь на правительственной трассе – да и то частично, как догадывался Соловьев, время от времени подпрыгивая на заднем сиденье.

Когда подъехали к Ялте, солнце успело спрятаться за гору Ай-Петри. Его сияние смешивалось с нанизанным на вершину облаком и образовывало до странности прямые, словно прожекторные, лучи. Горы обступали станцию с трех сторон, оставляя свободным только бегающий к морю бульвар. В Ялте уже начинала ощущаться вечерняя свежесть, и вместе с ней сердца Соловьева коснулось беспокойство. Легкая тревога. Древнее чувство того, кому предстоит ночевать в незнакомом месте.

Соловьев вышел из троллейбуса, и его окружили женщины. Они наперебой предлагали снять жилье. Возможностей было так много, что молодой историк растерялся. Он мог выбирать между койкой, отдельной комнатой и коттеджем. Его приглашали поселиться возле кинотеатра *Спартак*, у музея А. П. Чехова и даже на Ленинградской улице. Соловьев не знал города. Под давлением взволнованных квартирсдатчиц он мучительно выбирал место своего будущего жилья. Душа петербургского аспиранта склонялась к соседству с Чеховым, но там предлагался целый коттедж, на который не хватило бы всей полученной им стипендии. Ленинградская улица, ввиду возвращения городу его первоначального имени, звучала неприемлемо. После некоторых колебаний он остановился на кинотеатре *Спартак*, рядом с которым на улице Пальмиро Тольятти располагалась предлагаемая квартира.

Соловьев помнил, как, коснувшись полки перстнем с камеей, Надежда Никифоровна торжественно сняла с нее и вручила ему роман Джованьоли *Спартак*. В ходе последующего обсуждения книги выяснилось, что, подобно подростку Соловьеву, над вымыслом слезами облилась и Надежда Никифоровна, очень, оказывается, сочувствовавшая гладиатору. Именно тогда Соловьев окончательно укрепился в своем решении вступить с ней в брак. Что касается Пальмиро Тольятти, то Соловьев хотя и подозревал его в связи с коммунистами, но ценил за красивое имя.

До *Спартака* доехали на троллейбусе. Перешли через дорогу и оказались на улице Тольятти – узкой, тихой и зеленой. Двор, в котором располагалось жилье, Соловьеву понравился. Как и в названии улицы, всё в нем было итальянским: пристроенные террасы с ведущими к ним замысловатыми лестницами, бельевые веревки между окнами и покрывавший всё это раскидистый платан. Так, по крайней мере, представлял Италию Соловьев.

Поднимаясь за опекавшей его дамой по крутой деревянной лестнице, он разглядывал ее небритые ноги. Эти ноги (как, впрочем, и ноги Соловьева) извлекали из ступенек невероятной силы стук, скрип и визг. Оглушительная лестница в голове юноши рождала образ огромного расстроенного инструмента. Пройдя по террасе, уставленной цветочными горшками, Соловьев

и его провожатая оказались в полутемном коридоре. Когда глаза Соловьева привыкли к темноте, он разглядел несколько газовых плит и подумал, что попал в коммуналку. Это действительно была коммуналка, от которой путем сложных архитектурных решений соловьевскому жилью удалось отделиться. Вход в него, в первый момент незаметный, скрывался за выступом стены. Дама достала из сумочки ключ и, подмигнув Соловьеву, открыла дверь.

Квартира состояла из двух смежных комнат и застекленной веранды. Дверь в дальнюю комнату оказалась заперта. Соловьеву было сказано, что там сложены вещи, которые хозяева для жильцов не предназначали. Первая же – с выходом на веранду – комната предоставлялась в полное его распоряжение. Веранда была одновременно кухней: там находились плита, разделочный стол и шкафчик с посудой. В дальнем углу веранды помещалось сооружение, напоминавшее забитую фанерой телефонную будку.

– Туалет, – сказала сопровождающая и для большей убедительности слила воду.

Она записала паспортные данные Соловьева, взяла с него деньги за две недели вперед и, так же загадочно подмигнув, исчезла за дверью. Когда на лестнице стихло ее топанье, Соловьев защелкнул замок изнутри и стал разбирать вещи. Первым делом он достал из дорожной сумки плавки и надел их. Затем, вытащив махровое полотенце, аккуратно уложил его в небольшой рюкзак. Выданный ему ключ засунул в карман шортов и осмотрелся. Он был полностью готов к своей первой встрече с морем.

3

Присоединение Крыма к Украине произвело на генерала Ларионова не меньшее впечатление, чем пуск троллейбуса. Вместе с тем он был вовсе не склонен это обстоятельство драматизировать.

– Русские, не жалейте о Крыме, – заявил он, сидя на молу майским днем 1955 года.

Публичные высказывания генерала были большой редкостью, и вокруг него немедленно собралась толпа. Блеснув эрудицией, генерал напомнил о том, что в разное время Крым принадлежал грекам, гунуэзцам, татарам, туркам и т. д. И хотя владычество их было по историческим меркам непродолжительным, все они оставили здесь свой культурный след. Касаясь русского следа, генерал короткими энергичными мазками обозначил впечатляющую панораму – от изысканных парков и дворцов до дамы с собачкой. Завершалось выступление по-военному четко:

– Как человек, оборонявший эти места, я говорю вам: удержаться здесь невозможно. Никому. Таково свойство полуострова.

Генерал знал, что говорит. В 1920 году оборону Крыма ему пришлось держать дважды – в январе и ноябре. События октября – ноября стали окончательным крахом Белого движения. Он не смог удержать Крым.

И все-таки первая, январская, оборона (никто тогда не считал ее возможной) оказалась успешной. Именно она отодвинула захват полуострова красными почти на год. Обстановку, сложившуюся к началу 1920-го, исследователи оценивают более или менее одинаково. Это было время, когда закат Белого движения становился всё очевиднее.

– Не на ярмарку ведь едем – с ярмарки, – так солнечным январским утром генерал Ларионов шепнул на ухо своему коню.

Для всех наблюдавших эту сцену сказанное генералом предстало в виде облачка пара. Остается загадкой, как в отсутствие свидетелей эта фраза смогла стать достоянием общественности. Спору нет, в исторической литературе неоднократно отмечались доверительные, почти человеческие отношения между лошадью и генералом Ларионовым, называвшим животное *друг мой* и обращавшим к нему отдельные свои реплики. Вместе с тем нелепо было бы представлять, что лошадь могла ответить генералу тем же, и уж тем более – болтать налево и направо о сказанном ей на ухо.

Впрочем, точно такие же слова были направлены генералом и английскому посланнику в ноябре того же года. Текст пришел по телеграфу, поскольку сам генерал, обеспечивая эвакуацию армии из Крыма, возглавлял последний рубеж обороны. Разумеется, в телеграмме английскому посланнику (она сохранилась) ни слова не сказано о том, что фраза адресовалась не ему одному. Как бы то ни было, в науке данный текст цитируется со ссылкой на январь¹⁴, причем цитируется довольно часто, уступая в популярности лишь знаменитому определению причин поражения белых¹⁵.

Итак, обстановка, сложившаяся к январю 1920 года, была непростой. Смертоносный ком, так изящно обрисованный генералом, перекатывался по Северной Таврии – преддверию Крыма, и не предвиделось силы, способной помешать ему туда вкатиться. Собственно говоря, верховное командование Белой армии и не собиралось Крым защищать. Основные силы белых

¹⁴ См., например: Романчук В. На закате // Материалы к истории Гражданской войны. Т. 21. М., 1996. С. 578.

¹⁵ Причины поражения сформулированы генералом в предисловии к обнаруженным А. Дюпон воспоминаниям. Формулировка дана с обескураживающей прямоотой и звучит следующим образом: «По России покати́лся средней величины ком дерьма. С невероятной скоростью он разрастался за счет налипания родственного материала, которого в России оказалось, увы, очень много. Мы были раздавлены этим комом» (см.: Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии. С. 41.).

отступали с боями по двум направлениям – Кавказ и Одесса, откуда впоследствии, после передышки и перегруппировки сил, планировалось начать контрнаступление. При благоприятном развитии событий предполагалось выдавить красных из Крыма самым фактом возвращения войск, обтеканием полуострова двумя стремящимися на север потоками. Но это могло произойти в будущем. В январе же 1920 года Крым молчаливо предназначался к сдаче. Количество брошенных на его оборону сил развеяло у всех последние сомнения. У всех, кроме генерала Ларионова.

Как известно, скрупулезный перечень войск, находившихся в распоряжении генерала при обороне Крыма, был дан всё той же А. Дюпон в статье *Леонид и его дети*¹⁶. Чтобы не заставлять читателя разыскивать эту труднодоступную, в общем-то, работу, повторим вкратце приведенные в ней данные:

13-я пехотная дивизия — 800 штыков
 34-я пехотная дивизия – 1200 штыков
 1-й Кавказский стрелковый полк – 100 штыков
 Славянский полк — 100 штыков
 Чеченский полк – 200 шашек
 Донская конная бригада – 1000 шашек
 Конвой Штаба корпуса – 100 шашек

Перечисленные войска располагали двадцатью четырьмя легкими и восемью конными орудиями. В ходе организации обороны генералу Ларионову удалось раздобыть также шесть танков (три тяжелых и три легких), а также восемь бронепоездов. Несмотря на то что все бронепоезда оказались неисправными, для сына директора департамента железных дорог они стали большой моральной поддержкой.

У всякого, кто хоть мало-мальски разбирался в военном деле, приведенный перечень не оставлял сомнений: высшее командование белых Крым решило оставить. На защиту фронта, растянувшегося на четыреста верст, было брошено всего 3500 бойцов. Генерал отдавал себе отчет в том, что в Северной Таврии Крым оборонять невозможно. И он не стал этого делать.

Вне всяких сомнений, генерала Ларионова вдохновила гениальная идея спартанского царя Леонида, решившего обороняться от персов в узком ущелье. Как известно, воинский контингент Леонида был весьма ограниченным (вдесятеро меньше того, чем располагал генерал Ларионов, не говоря уже о полном отсутствии бронепоездов), но это не помешало ему сражаться самым достойным образом. В свое время этот бой был подробно разобран на тактических занятиях во Втором кадетском корпусе, где учился будущий генерал. Подвиг царя Леонида произвел на кадета Ларионова неизгладимое впечатление.

Жизнь сложилась так, что сражения, в которых приходилось принимать участие генералу, разворачивались на подчеркнуто открытой местности. Это были поймы рек, бескрайние поля ржи или высохшие до растрескивания степи. Во время Первой мировой войны ему случилось было воевать в горах, но горами этими оказались Карпаты, к 1914 году порядком подвыветрившиеся и в оборонительном отношении никуда не годные. Генерал Ларионов мысленно благодарил судьбу за то, что в тактически невыгодной обстановке ему противостояли не персы. Лишь в январе 1920 года он почувствовал, что его час настал. Как и знаменитого спартанца, русского генерала посетило пронзительное осознание того, что единственным шансом для успешной обороны было сужение фронта. Он отказался от защиты Северной Таврии и двинул свои войска к Перекопу.

Перекопский перешеек был, наверное, самым безрадостным местом русского юга. В летнюю жару там было трудно дышать от испарений мертвой воды Сиваша. Время от времени,

¹⁶ Dupon A. Léonide et ses enfants // Revue des études slaves. V. 57. Paris, 1987. P. 35–59.

перекаывая высохшие водоросли по соляным разводам грунта, поднимался ветер, но это не приносило свежести. Сущим бедствием ветер становился зимой. По безлюдному заледеневшему пространству он гнал колючую, ни одним кустом не задерживаемую поземку. Ветер уносил с собой всякую надежду согреться. Он забирался за борта шинелей и примораживал к дулам пальцы, гасил разведенные из тележных обломков костры и присыпал пеплом лунный пейзаж Перекопа. Неудивительно, что подобная территория произвела на генерала Ларионова самое неблагоприятное впечатление. И он решил ее не защищать.

Ознакомившись с историей обороны Северного Крыма, военачальник обратил внимание на то, что общей ошибкой оборонявшихся всякий раз было стремление непременно удержаться на Перекопском валу. Между тем ввиду описанных климатических условий одно лишь пребывание на Перекопском перешейке отнимало огромное количество сил, средств и боевого духа, потому что нет ничего более пагубного для армии, чем сидение в окопах на морозе. После того как защитников сбрасывали с Перекопского вала, дорога на Крым была открыта. Чтобы не повторять опыт своих предшественников, хитроумный генерал поступил иначе. Заметаемое снегом и лишенное всякого жилья пространство он решил предоставить своему противнику. Красных ждали не на Перекопском перешейке (там было оставлено лишь небольшое охранение, роль которого сводилась к уведомлению основных сил об атаке). Их ждали у выхода с перешейка.

Красные оправдали надежды генерала. Конница, усиленная пехотой, втянулась в перешеек сразу же вслед за оставлением его белыми войсками. Пройдя по ледяной пустыне целый день и не встретив никого, с кем можно было бы всерьез сразиться, на закате дня красные почувствовали тревогу. Двигаться вперед на ночь глядя им представлялось опасным. Решив заночевать в морозной степи, они выбирали, как им казалось, меньшее зло.

Многие исследователи считают, что уже в январе 1920 года красными войсками на крымском участке командовал Дмитрий Петрович Жлоба (1887–1938), сын крестьянина, окончивший Московскую авиационную школу (1917). Существует и противоположное мнение, согласно которому к январю 1920-го Д. П. Жлоба всё еще продолжал учебные полеты в связи с невыполнением им школьной программы по летным часам¹⁷.

Все, кому знакома история этого авиатора, знают, очевидно, и о непростых отношениях, сложившихся между ним и остальными учениками авиационной школы. Будучи в массе своей гораздо младше Д. П. Жлобы, они позволяли себе насмехаться над особенностями его внешности (почти полное отсутствие лба плюс наличие двух лишних зубов в верхнем ряду) и всячески оттирали его от летательных аппаратов. Затравленный младшими товарищами, учащийся авиационной школы имел возможность летать только по ночам, что сделало его квалификацию односторонней. Ночные полеты не были засчитаны Жлобе в качестве летного времени. В итоге ему было предложено еще раз налетать необходимое количество часов – уже днем, – чем он с переменным успехом занимался до 1920 года. В конце концов его назначили командиром Первого конного корпуса, и он прекратил свои опасные опыты в воздушном пространстве.

Жлоба-кавалерист оказался удачливее Жлобы-авиатора. Он умел оказывать влияние на личный состав своего корпуса, в особенности на лошадей. Животные беспрекословно слушались зычного, на близком расстоянии непереносимого голоса крестьянского сына и с первого окрика устремлялись в атаку. Бросаясь на врага с оголенной шашкой, Д. П. Жлоба представлял перед собой бывших соучеников по Московской авиационной школе. Проявляемая им в бою неистовость производила впечатление не только на противника. С определенного времени она стала вызывать настороженность даже в подчиненном ему корпусе.

¹⁷ См.: *Вузмейстер Е. Ц.* Дмитрий Петрович Жлоба. М., 1954. С. 87–88. (Серия «Жизнь замечательных людей».) Ср.: В мире Жлобы: межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 1948. С. 17.

Когда Жлоба объявил о ночевке на Перекопе, никто не возразил. Даже если бы существовал какой-то более приемлемый план, вряд ли кто-либо осмелился противоречить командиру. Но такого плана не было и не могло быть. Всё, что с этого часа происходило с войсками Жлобы, было воплощением плана генерала Ларионова. Красные провели ночь под морозным небом Перекопа. Потом еще одну. Их подавляющий численный перевес оставался нереализованным. Не имея возможности развернуть свои боевые порядки, они не решались напасть на белых первыми. Казалось, желанный бой приводил Д. П. Жлобу в недоумение.

После третьей проведенной на Перекопе ночи половина личного состава корпуса заболела, и выпускник авиационной школы понял, что рискует потерять свои войска без боя. Он решил действовать. На рассвете четвертого дня красные двинулись к выходу из Перекопского перешейка и попали под жесточайший фланговый огонь со стороны Юшуня. Их атака закончилась беспорядочным бегством и пленением. Следует отметить, что пленные были основным источником пополнения Белой армии. Взятые в плен снова ставились под ружье и начинали двигаться в прямо противоположном направлении. Они дрались с той же непреклонностью, что и до своего пленения. Такой была эта война.

Д. П. Жлоба ушел, чтобы вернуться. Собрал силы, он вновь попытался прорваться в Крым, но, как и в первый раз, дальше Перекопа ему пройти не удалось. Выстроенные белым генералом защитные линии казались непреодолимыми. Однако Ларионову было известно, что уязвимы и они. Генерал Винтер, оказавший, по словам русского полководца, неоценимую услугу при замораживании красного наступления, грозил переметнуться на вражескую сторону. Зима 1920 года была настолько сурова, что произошло неожиданное: солёный, как бочка с огурцами, Сиваш начал замерзать. В те дни, когда Жлоба упрямо бился в закупоренном выходе из перешейка, генерал Ларионов посылал на Сиваш следить за образованием льда.

Сначала это были тонкие, наподобие стекла пластинки, покрывавшие воду залива по утрам. Когда под дневным солнцем они перестали таять, генерал встревожился. Уже через несколько дней лед был настолько прочен, что мог выдерживать легковооруженного пехотинца. Ночью, чтобы не выдать предмета своих опасений, генерал стал направлять на Сиваш груженные подводы с тем, чтобы они проверяли лед на прочность. Ведь замерзши лед чуть крепче, фермопильский план генерала рухнул бы в одночасье. По льду Сиваша прошли бы и пехота, и кавалерия, и все имевшиеся у красных тяжелые орудия. Кажется, он даже замерз так на несколько дней, но Жлоба, увлеченный очередным штурмом Перекопа, на это не обратил никакого внимания.

Паника, поднявшаяся было в Крыму после занятия красными перешейка, постепенно улеглась. Учреждения распаковали свои бумаги, наскоро сброшенные в фанерные ящики. В те дни всё уже было готово к эвакуации. Вместе с армией эвакуироваться собирались и тысячи беженцев из Центральной России, вырвавшихся из рук большевиков и до смерти боявшихся попасть в них снова. Они так и говорили – до смерти, и были недалеко от истины. Лишь немногие из тех, кто впоследствии не сумел эвакуироваться в Константинополь, остались в живых.

Интересно, что установление советской власти в Крыму стало темой, данной Соловьеву проф. Никольским на четвертом курсе. Тогда Соловьев еще не знал, что будет заниматься судьбой генерала, но начиная с этого времени темы, им разрабатываемые, всё ближе смыкались с будущим его главным исследованием. Соловьев подошел к делу со всей тщательностью и нашел в архивах несколько неопубликованных воспоминаний. Это и послужило основой его курсовой.

Речь шла преимущественно о Севастополе, который оказался первой ласточкой коммунистической весны. Соловьев описал, как в городе были развешены объявления, приглашавшие всех *бывших* собраться в городском цирке для трудоустройства. Несмотря на предпринятые усилия, исследователю так и не удалось выяснить, почему был выбран именно цирк. Стало ли это предвестием побеждавшего абсурда, содержался ли в месте собрания намек на античное

растерзание зверями или цирк был попросту единственным известным большевикам залом – только никто из *бывших* не почувствовал подвоха. Это были невоевавшие *бывшие*, потому что те, кто воевал, находились уже в Константинополе. *Бывшие* бухгалтеры, секретарши, гувернантки – все они послушно пришли на площадь перед цирком. Когда площадь наполнилась, ее окружили войсками и натянули колючую проволоку. Пришедших было так много, что они не могли даже сесть. Несколько тысяч *бывших* простояли на площади двое суток. На третий день их вывезли за город и расстреляли¹⁸.

И это было только начало. Собрав данные по всем городам Крыма, Соловьев пришел к выводу, что за первые месяцы советской власти на полуострове было казнено около 120 000 человек. Это на 15 000 превышало данные, приводимые в энциклопедии И. А. Рацимора¹⁹. Серьезно – в сторону увеличения – расходились данные по расстрелянным старикам, женщинам, детям и раненым.

Курсовая была написана вполне квалифицированно, с привлечением обильного фактического материала, удостоверявшего 102 сносками. К минусам работы проф. Никольский отнес манеру изложения, показавшуюся ему излишне эмоциональной. Он попросил Соловьева убрать риторические вопросы, а также пассажи, выражающие отношение исследователя к действиям красных. Самым красноречивым в работе были, с точки зрения профессора, цифры. По большому счету, они не нуждались в подробных комментариях.

На пятом курсе Соловьев написал дипломную работу на тему *Роль латышских стрелков в Октябрьском перевороте и потеря независимости Латвией в 1939 г.*, где два отраженных в заглавии события оказались у него в причинно-следственной, но главным образом – морально-этической связи. Воюя на стороне путчистов, латышские стрелки, по мысли Соловьева, поддерживали режим, проглотивший впоследствии и Латвию, и ее независимость, и самих стрелков. В этот раз риторическими вопросами работа не сопровождалась. Комментарии были минимальны.

Несмотря на парадоксальность мышления юного историка (а может быть – именно благодаря ей), проф. Никольский эту работу опубликовал²⁰. Несколько месяцев спустя на статью Соловьева в популярном рижском издании вышла небольшая, но энергичная рецензия за подписью *Совет ветеранов*. Ее авторы не видели никакой связи между указанными событиями и, в свою очередь, рассматривали возможность альтернативного хода истории в 1939 году. Гипотетическое будущее Латвии им виделось в самых радужных тонах.

Проф. Никольский, который в этих обстоятельствах счел необходимым вступить за своего ученика, опубликовал свой *Ответ рижским ветеранам*²¹. Начал он с теоретического введения, в котором обосновывал важность в истории нравственного фактора. По мнению исследователя, нравственная ущербность лишала государства энергии, необходимой для их благополучного существования. Профессор показывал, как она опустошала их изнутри и превращала в пустую оболочку, сминаемую первым же ветром. В этом контексте им было рассмотрено падение великих государств Древнего мира (Греция, Рим) и Нового времени (СССР, США). Касаясь других государств, проф. Никольский привел пример Польши, договорившейся с большевиками в 1920 году и поглощенной ими же в 1945-м.

Вместе с тем, верный своей теории об отсутствии исчерпывающих научных истин, профессор указывал, что говорить можно лишь о тенденции, но не о правиле. В качестве исклю-

¹⁸ Ср.: Сапожников А. Крым осенью 1920 г. // Исход русской армии генерала Врангеля из Крыма / составление, науч. редакция, предисловие и комментарии С. В. Волкова. М., 2003. С. 605.

¹⁹ Рацимор И. А. Энциклопедия Гражданской войны. А – К. С. 590. Впоследствии выяснилось, что в статье *Казни*, на которую ссылается Соловьев, И. А. Рацимором рассматривались только расстрелянные (ок. 110 000 чел.). Утопленных, задушенных и разрубленных на части (ок. 15 000 чел.) исследователь учитывает в статье *Зверства*.

²⁰ Прошлое и настоящее. 1996. № 1. С. 35–78.

²¹ Прошлое и настоящее. 1997. № 3. С. 55–96.

чения он приводил в пример англичан и американцев, ведших в том же 1920 году за спиной у генерала Ларионова сепаратные переговоры с большевиками и нисколько впоследствии не пострадавших. В счастливом для англичан и американцев исходе дела решающим, по мнению петербургского профессора, оказался фактор расстояния и окруженность обоих англосаксонских государств водой. Географический же фактор позволил этим государствам повременить со вступлением во Вторую мировую войну до примерного выяснения обстановки. В этих случаях – и здесь Никольский шел навстречу Соловьеву – вода играла решающую роль.

Впрочем, признавался, подводя итоги, профессор, возможно, его взгляд на вещи излишне мрачен. С точки зрения проф. Никольского, скепсис его мог объясняться тем, что историки в большинстве своем – пессимисты, поскольку имеют дело преимущественно с покойниками. История – наука о мертвых, неожиданно заключал свое эссе русский профессор, в ней очень мало места для живых.

Разумеется, афористическая форма высказывания прежде всего была призвана подчеркнуть необходимость определенной дистанции по отношению к исследуемому материалу. И все-таки замечание руководителя произвело на Соловьева неизгладимое впечатление. В аспирантуру Института русской истории он поступал в довольно угнетенном состоянии. Мрамор Большого конференц-зала, где он сдавал вступительные экзамены, напоминал ему анатомический театр. С историческими лицами, которыми предстояло заниматься Соловьеву, его примиряло только то, что в период своей деятельности они были еще живы.

От мировоззренческого кризиса Соловьева окончательно спас отъезд аспиранта Калужного. Помимо научной темы, от меланхолического поклонника генерала Соловьеву достался основной вопрос исследования (почему генерал остался жив?) и одна-единственная библиографическая карточка. Эта карточка содержала – конечно же! – данные книги А. Дюпон. Прочитав книгу, Соловьев нашел тему интересной и мало исследованной. Кроме всего прочего, генерал Ларионов был абсолютно мертв и являлся, таким образом, законным объектом научного исследования. Даже по самым строгим историческим меркам с ним уже можно было работать.

Но генерал был не просто мертв. Еще будучи жив, он, в отличие от многих исторических деятелей, рассматривал смерть как непереносимый факт жизни.

– Посмотрите на них, – говорил он об этих деятелях, – они действуют так, будто не знают, что их ждет смерть.

Генерал знал, что его ждет смерть. Он готовился к ней, маршируя в предгорьях Карпат и проверяя посты на Перекопе. Уже впоследствии, когда поздно вечером кто-то стучал в его дверь, у него всякий раз мелькала мысль, что это стучит смерть. И уж конечно, он ожидал ее стариком, сидя на молу в своем складном кресле. Он удивлялся, что она так долго не идет, но никогда не жалел об этом.

Однажды генерал сфотографировался в гробу. Взяв с собой фотографа, он зашел в бюро ритуальных услуг и попросил разрешения кратко воспользоваться гробом. Ему не смогли в этом отказать. Генерал оправил складки слежавшегося мундира, лег в гроб и, сложив на груди руки, закрыл глаза. Среди тревожного молчания ритуальных агентов фотограф сделал несколько снимков. Самый удачный из них известен почти так же, как знаменитое фото на молу. Он сопровождает большинство публикаций о генерале. Мало кто знает, что снимок был сделан при жизни этого выдающегося человека. Не подозревая о степени своей проницательности, некоторые исследователи отмечали отсутствие в снимке черт смерти. Более того, используя традиционную для таких случаев образность, они выражались в том смысле, что генерал на фотографии словно спит. На самом деле генерал не спал. Из-под прищуренных век он наблюдал за реакцией собравшихся и представлял, что они могли бы говорить о нем в случае его действительной смерти.

Возможно, ему было обидно, что он не увидит собственных похорон, и он решил устроить своего рода репетицию. Не исключается, что такого рода поступок был попыткой то ли обмануть смерть (я умер давно, чего меня искать?), то ли спрятаться от нее. Да, генерал не прятался от смерти в молодые годы, но ведь в старости люди меняются...

Впрочем, более уместным представляется другое объяснение, исходящее из давних и почти интимных отношений генерала со смертью. Не было ли произошедшее родом любовной игры с ней или – что также вполне допустимо – проявлением особого старческого кокетства? В точности ответить на эти вопросы сейчас уже невозможно, как невозможно сколько-нибудь достоверно рассуждать о взаимоотношениях жизни и смерти в чьей-то судьбе. Можно лишь констатировать, что в конце концов генерал встретился со своей смертью. Когда понадобилось, она нашла его без особых усилий.

Задумываясь о теме смерти в истории генерала Ларионова, Соловьев стремился понять психологию того, в чьей профессии готовность умереть являлась первым и главным требованием. Он пытался прочувствовать состояние человека накануне боя, когда всякое его действие, мысль и воспоминание могут быть последними. Можно ли к этому привыкнуть? Известно, что вечерами накануне боя генерал подолгу гляделся в походное зеркало, словно пытаясь себя запомнить напоследок. Медленно поворачивая кисть руки, он как бы представлял ее лежащей в соседнем окопе. Неразделимость членов человеческого тела казалась ему в такие вечера преувеличенной.

Имел ли человек в таких обстоятельствах право на привязанности? Военная дружба – пронзительна, как пронзительна и военная любовь: в них всё как в последний раз. Это повод переживать их с предельной остротой или, наоборот, отказаться от них совершенно. Что выбрал тогда генерал?

Он выбрал воспоминания. На случай возможного отсутствия будущего он продлевал свою жизнь многократным переживанием прошлого. Генерал почти физически ощущал шелк обоев гостиной, по которым он скользил плечом, спасаясь от внимания гостей, кем-то из прислуги – по родительскому, очевидно, распоряжению – неожиданно внесенный сюда, в царство десятков свечей, звенящей посуды, сигар и огромных, до потолка, окон, беспечно распахнутых в рождественский полумрак Петербурга. Генерал твердо помнил, что, вопреки обычным зимним правилам, окна были открыты – помнил потому, что еще долгое время продолжал считать Рождество днем наступления тепла. Вспоминая это, он уже знал, что ошибался.

Но для вечеров перед боем у генерала было еще кое-что: первое посещение ялтинского пляжа. Оно подробно описано в опубликованной части генеральских воспоминаний²², что позволяет, опустив ряд подробностей, остановиться на ключевых моментах этого события. Прежде всего ребенка поразила спокойная сила моря, мощь клочковатой пенистой волны, сбившей его с ног и увлекшей за собой при первом же приближении к воде. В отличие от своих домашних, он не испугался. Выскочив на берег, он уже нарочно падал на самой кромке прибоя, позволяя стихии перекачивать свое маленькое розовое тело. От избытка чувств он прыгал, кричал и даже слегка помочился, наблюдая, как никому не заметная струйка исчезала в накатившей волне образца 1887 года.

С тех пор пляж занял в жизни ребенка особое место. Даже в 1890-е годы, когда обстоятельства не всегда позволяли ему появляться на пляже нагишом, радость будущего военачальника от встречи с морем не уменьшилась. Он по-прежнему встречал волны победным возгласом, хотя и не допускал уже тех самозабвенных поступков, которые отметили его первое свидание со стихией.

Несмотря на церемонность XIX века, эта эпоха имела свои очевидные отдушины. В те годы, когда платье только-только поднялось над щиколотками, а об открытых коленях даже

²² Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии. С. 52–58.

не мечталось, раздеться полностью было в определенном смысле проще, чем сейчас. Нагое купание крестьян и крестьянок и, более того, помещиков и помещиц не было в русской деревне чем-то из ряда вон выходящим и уж ни в коем случае не рассматривалось в качестве оргии²³. Эта простота нравов порой касалась и пляжа. По воспоминаниям князя П. Урусова, еще в начале двадцатого века «было принято плавать и сидеть на пляже обнаженным, во всяком случае, в частном имении»²⁴.

И все-таки пляж пришел как явление западноевропейское, принес с собой ряд принятых там правил игры. На пляже требовалось одеваться, но одеваться особым образом: не в привычное исподнее, а в специального фасона трико – полосатое и интересно облегавшее фигуру. Недостатком пляжной экипировки был, однако, общий недостаток одежды того времени: на теле купальщика она почти не оставляла открытых мест.

Воюя в континентальных частях Европы, генерал неизменно вспоминал пляж – влажную солоноватость ветра, едва различимый запах кустов кизила и ритмичное качание водорослей на прибрежных камнях. С уходом волны водоросли послушно повторяли форму камней, подобно тому как волосы ныряльщика, сверкая в стекающей воде, ложатся на его голове на манер плавательной шапочки. Генерал вспоминал запах раскаленной гальки, когда на нее упали первые капли дождя; он слышал особый пляжный шум – приглушенный и как бы далекий, состоящий из детских криков, ударов по мячу и шуршащего накатывания волн на берег.

Пляж для генерала был местом торжества жизни в том, пожалуй, смысле, в каком поле боя является местом торжества смерти. Не исключено, что возможностью (пусть издали) обозреть пляж и было вызвано его многолетнее сидение на молу – нога на ногу, в неизменном складном кресле, под дрожащим кремовым зонтом. На пляж он смотрел лишь время от времени, вполоборота, но получал от этого неопишное удовольствие. Радость генерала омрачалась только двумя обстоятельствами.

Первым из них было предчувствие зимы, когда заносимый снегом пляж превращался в воплощение сиротства, становясь чем-то противоположным по отношению к своей изначальной предназначенности. Вторым обстоятельством было то, что все, с кем он когда-либо оказывался на пляже, были давно мертвы. Загипнотизированный жизнеутверждающей аурой пляжа, генерал в свое время не допускал самой возможности смерти тех, рядом с кем он сидел в шезлонге, открывал лимонад или двигал шахматные фигуры. К большому разочарованию генерала, никого из них уже не было в живых. Да, они умерли не на пляже (и это их отчасти извиняло), но ведь умерли. Думая об этом, генерал сокрушенно качал головой. Сейчас, спустя время, можно констатировать, что он тоже умер.

²³ См.: Волков-Муромцев Н. Юность. От Вязьмы до Феодосии. М., 1997. С. 88.

²⁴ Урусов П. Из воспоминаний исчезнувшего времени // Крымский альбом. Феодосия; М., 2002. С. 59.

4

Через двадцать лет после смерти генерала Ларионова на ялтинском пляже появился историк Соловьев. Первая встреча Соловьева с морем происходила совсем не так, как это сложилось у будущего военачальника. Соловьев приехал на море взрослым человеком, и беспечное перекашивание в волнах представлялось ему делом неподобающим. Кроме того, к моменту появления на пляже исследователь успел ознакомиться с соответствующей частью генеральских воспоминаний, и уже одно это обстоятельство не позволило бы ему, словно в первый раз, проделывать всё то, что себе когда-то позволил малолетний Ларионов. В такого рода попытке непременно сквозила бы натянутость и некоторая даже вторичность. Как ученик проф. Никольского, Соловьев вообще считал, что никакие события не повторяются, потому что никогда не повторяется совокупность условий, к ним приведшая. Стоит ли удивляться, что попытки механически копировать те или иные действия из прошлого обычно вызывали у исследователя протест и расценивались им как дешевая симуляция.

Поступки Соловьева разительно отличались от ларионовских. Молодой историк достал из рюкзака полотенце и расстелил его на теплой вечерней гальке. Сняв шорты и футболку, он аккуратно уложил их на полотенце, распрямился и – внезапно осознал свою неадаптированность. Ласковый ялтинский ветер он ощущал каждым волоском незагорелой и всем открытой кожи. Соловьев знал, что на пляже ходят именно так, но ничего не мог с собой поделать. Руки его инстинктивно прижимались к туловищу, плечи сутулились, а ноги очевидным образом вращались в гальку. Соловьев не только в первый раз приехал к морю: впервые в жизни он был на пляже.

Сделав над собой усилие, деревянной походкой он двинулся к воде. Галька, до блеска отполированная волнами, под босыми ступнями Соловьева становилась на удивление твердой и острой. Передвигая полусогнутые ноги, он попеременно на них припадал, балансировал в воздухе руками и отчаянно закусывал нижнюю губу. Это помогло ему добраться до места, на которое уже накатывались волны. Сверкающий участок был сушей лишь условно – в краткий миг между уходящей и набегающей волнами. Но даже в этот миг было видно, что покрыт он мелкими, переходящими в песок камешками, которые вынесло море. Стоять здесь было одно удовольствие.

Почувствовав молочно-теплое прикосновение воды, Соловьев замер. Это было сравнимо с тем, что он испытал, впервые ощутив прикосновение губ Лизы Ларионовой. Стоя по щиколотку в воде, Соловьев уже не знал, какое из прикосновений впечатлило его в большей степени. Он смотрел на два легких водоворота у своих ног и чувствовал головокружение. Чтобы удержаться на ногах, Соловьев сделал несколько шагов вперед. Теперь он стоял в воде по колено. Волны вокруг него уже не кипели, а перемещались непостижимым внутренним движением, родственным, пожалуй, игре мышц под кожей. Море, бывшее за его спиной в пене и брызгах, здесь, в нескольких шагах от прибоя, не имело и следа этой истерики. Оно встречало Соловьева мощным ритмом подъема и опускания, спокойным любопытством глубины. Когда вода дошла ему до груди, он остановился. Соловьев не умел плавать.

Как уже отмечалось, на станции *715-й километр* не было водоемов. Фантазия подростка питалась книгами о морских приключениях, радиопостановками (настенное радио было единственным средством массовой информации в доме Соловьева). Строго континентальное положение станции *715-й километр* эту фантазию только подогревало. Почему Соловьев не стал моряком? Он и сам не смог бы на это в точности ответить. Да, он бесконечно любил море и всё, с морем связанное, и все-таки... Можно подойти к объяснению с другой стороны. Существуют люди, обладающие даром созерцания. Они не склонны вмешиваться в течение жизни и не создают новых событий, считая, что в мире достаточно событий и без них. Свою роль

они видят в постижении уже состоявшегося. Не это ли отношение к миру рождает настоящих историков?

Как ни странно, в определенной степени созерцательность была свойственна и генералу Ларионову. Проявилось это, может быть, особым образом и не сразу, но зададимся вопросом: а много ли известно созерцательных генералов? Вообще-то немного. Задача генерала по сути своей созерцанию противоположна. Но, видя, как глаза полководца подернуты туманом, как посреди кипящего боя взгляд его застывает в самой дальней точке пейзажа – там, где уже не отыщешь даже арьергарда противника, – видя такого генерала, любой подумает, что это – созерцатель.

Так думали и те, кто сопровождал генерала Ларионова в Крымскую кампанию 1920 года. Внезапная задумчивость, охватывавшая его как в перерывах между боями, так и в ходе их, не только была отмечена соратниками, но нередко становилась и предметом обсуждения. Разумеется, обсуждения эти носили в высшей степени конфиденциальный характер и отразились лишь в воспоминаниях обсуждавших (генерал не был тем человеком, который позволил бы себя так запросто обсуждать), но они – были, а значит, был и повод для их появления.

На многих из тех, кто имел возможность наблюдать за генералом в 1920 году, он производил впечатление человека задумчивого и даже чуть отрешенного. Впечатление было тем более неожиданным, что ни в одну из прежних кампаний ничего подобного за ним не замечалось. Как раз напротив: он воплощал собой действие и решительность. Собственно, это и были качества, которые сделали его генералом.

Справедливости ради нужно указать, что перемена, произошедшая с ним в 1920 году, была замечена не всеми в равной степени. Так, ряд мемуаристов опирается, похоже, на более поздние свои впечатления и, подчеркивая отрешенность генерала, явно преувеличивает ее степень по состоянию на 1920 год. Некоторые соглашались с описанными фактами как-то неуверенно, едва ли не из вежливости, говоря, что ввиду позднейшего умонастроения генерала нельзя их, наверное, отрицать и в 1920 году. Примиряя различные свидетельства²⁵, с достоверностью можно лишь констатировать, что к 1920 году генерал Ларионов обнаруживал определенную созерцательность. С течением лет это качество развивалось, приведя в конечном счете к полной сосредоточенности генерала на море.

То, чем завершилась деятельность генерала Ларионова, стало началом деятельности историка Соловьева. Созерцательное отношение к морю не позволило последнему овладеть ни одной из морских профессий. Он боялся, что слишком близкие отношения с морем могут привести к разочарованию и заставят его разлюбить стихию. Стоя по грудь в воде, молодой исследователь испытывал сомнения (ввиду его неустойчивого положения их можно было бы также назвать колебаниями) относительно того, не в слишком ли интимных отношениях пребывает он с предметом своей любви.

Помимо этих, совершенно новых для него, колебаний петербургский аспирант в очередной раз задавался вопросом о правильности избранной им (а в чем-то, пожалуй, и – за него) научной темы. Этот же вопрос он когда-то задал проф. Никольскому, когда тот впервые предложил ему заняться сухопутной тематикой.

– Что бы человек ни изучал, он изучает в первую очередь самого себя, – загадочно ответил профессор. – Имейте, юноша, в виду, что случайных тем не бывает.

Из уст профессора слова вышли в оболочке папиросного дыма. Столь зримый их облик в соединении с мудростью учителя сыграл свою роль. Соловьев решил не настаивать на морской теме и со всей страстностью принялся за исследование континентальных событий. Получив в аспирантуре предложение заняться судьбой генерала Ларионова, Соловьев вновь пришел к

²⁵ Обзор их см.: *Благой В. В.* Задумчивость, его подруга... // Социальное, профессиональное и возрастное в становлении и изменении поведенческих моделей: сб. статей под ред. Ю. И. Бехтерева. М., 1995. С. 57–80.

проф. Никольскому и задал ему старый вопрос о выборе темы. Ввиду запрета врачей старик уже не курил. Но в остальном ответ его был тем же, что и несколькими годами ранее.

Изучая судьбу генерала Ларионова, изучал ли Соловьев себя? Это был еще один трудный вопрос, поставленный историком самому себе. Чувствуя, что начинает в воде замерзать, он понимал, что для решения этого вопроса сейчас у него недостаточно времени. Кроме того, неподвижное стояние купальщика в море уже привлекло к нему внимание тех немногих, кто еще оставался на пляже. Соловьев решил оставить вопрос открытым и стал медленно продвигаться к берегу.

От долгого пребывания в воде тело исследователя приняло синюшный оттенок и покрылось гусиной кожей. Его нелепая скованность до купания на обратном пути сменилась и вовсе чем-то механическим, не имеющим отношения к ходьбе. Ни один из соловьевских суставов не сгибался, и только усилием воли молодой человек перемещал свое тело в направлении полотно. Растершись, Соловьев почувствовал себя гораздо лучше. Ни море, ни воздух в тот вечер не были холодны. Так (думалось Соловьеву) вредна для человека неподвижность.

Солнца на пляже уже не было. Ялтинские пляжи, окруженные горами с запада, солнце покидает довольно рано. Оно садится за горные хребты, но его рассеянный свет еще долго струится над затихающим морем, кабинками для переодевания и клюющими арбузные корки чайками. Городской пляж после шести вечера – это особый пляж. Краски его тусклы, в них сквозит желтизна скрывшегося солнца, как сквозит она в черно-белых фотографиях пляжей минувших лет. Может быть, спрашивал себя Соловьев, вечерний ялтинский пляж и есть остаток того, что видел малолетний Ларионов? Или так: не виденный ли это малолетним Ларионовым пляж – только спустя время, сквозь толщу, так сказать, десятилетий?

Соловьев позабыл взять с собой сухое белье, а потому шорты надел поверх мокрых плавок. В конце концов, он был человеком, не имевшим ни малейшего пляжного опыта. После того как Соловьев присел, чтобы застегнуть сандалии, контур плавок, словно на измятой фотографии, проявился сзади на шортах. Этого, впрочем, ему видно не было. Он взял свой рюкзак и задумчиво двинулся в направлении набережной.

Идя вдоль кромки воды, Соловьев поднял глаза и от неожиданности замедлил шаг. На самом краю мола в кресле (очень похожем на то, что он видел на фотографии) кто-то сидел. Этим кем-то была дама. И хотя расстояние не позволяло Соловьеву рассмотреть все детали, было очевидно, что дама очень немолода. Она сидела по-ларионовски неподвижно, положив ногу на ногу, а бриз легко шевелил подол ее длинного платья. Несомненно, эта дама знала толк в эффектных позах.

Первым движением Соловьева было подойти к даме, но этого движения он не сделал. Он не представлял, о чем ее можно спросить или как заговорить с ней. Более того, он не имел понятия даже о том, как следует подходить к подобным дамам. Следовало ли бы сразу же поцеловать ей руку или достаточно было полупоклона? Не исключено, что данный случай предусматривал молодцеватое щелканье каблуками в соединении с легким наклоном головы. Может быть, Соловьев все-таки решился бы на сближение с незнакомкой, но, вытирая вспотевшие руки о шорты, он обнаружил, что и те, в свою очередь, мокры. След плавок к тому времени успел явственно обозначиться и спереди. Его одежда, сама по себе фривольная, будучи еще и подмоченной, исключала всякую возможность знакомства. Заколебавшись на мгновение, Соловьев бросился домой переодеваться.

Лестница, по которой он взлетел рысцой, от удивления не успела издать ни звука, в то время как ключ, скользя по набитой вокруг замочного отверстия жести, издавал невообразимый скрежет. Открыв все-таки дверь, Соловьев швырнул рюкзак в угол, сбросил шорты и плавки и через секунду вышел из дома в белых и абсолютно сухих брюках.

Спешил он зря. Уже с набережной было видно, что мол пуст. Еще продолжая по инерции идти, Соловьев недоумевал, как старая дама в таком длинном платье сумела уйти за столь

короткое время. Да еще с креслом. Теперь он уже сам не был уверен, что видел ее. Соловьев остановился. Сегодня было 2 августа, день смерти генерала Ларионова. Дата возникла так же внезапно, как незнакомка на молу. Сидела ли она там и в самом деле? В определенном смысле Соловьеву было бы проще расценивать ее появление как обман зрения. По крайней мере, это было бы не так обидно. Учитывая дату события, Соловьев в конце концов предпочел дать ему метафизическое объяснение. Увиденное он решил считать посещением мола душой генерала.

Перед тем как вернуться домой, Соловьев решил пройтись по знаменитой ялтинской набережной. Начинало смеркаться, и на набережной зажглись первые огни. Это были старомодные, в духе тридцатых – пятидесятых, фонари с выпуклыми плафонами, произрастающими на раскидистых чугунных ветвях. Не будучи поклонником причудливого советского ампира, Соловьев тем не менее испытывал к нему интерес, почти симпатию. Его ни на что не похожие и одновременно всё на свете напоминавшие строения пережили свою империю. С видом одичалых старцев из зелени побережья время от времени выглядывали пансионаты, дома творчества и пионерлагеря. Они были последними посвященными в тайны профсоюзного отдыха, лишь они одни и помнили безмятежные запои сталеваров, бодрые голоса процедурных сестер и тяжелые оргазмы партхозактива. Наполнявшие эти стены в полном составе отправились в небытие, подобно тому, как с ялтинской набережной в том же направлении отбыли милиционеры в схваченных ремнем белых рубашках, орденосцы в вызывающе широких штанах, продавцы сбитня, пионервожатые, стилиаги, урки – все те, кого боковым зрением успевал замечать стареющий генерал Ларионов.

Глядя на характерные предметы эпох, Соловьев часто тосковал по не виденным им временам, и это ему самому казалось удивительным. Он не стремился в этих временах жить, он не считал их ни добрыми, ни даже просто интересными, но – тосковал. Напрасно, однако, юноша удивлялся своему чувству: это было тоской по *другому*, горячим желанием сделать его своим, поскольку тех, кто его некогда знал как свое, оно навсегда лишилось. Не отдавая себе в том отчета, Соловьев испытывал отцовское чувство историка, усыновляющего чужое время.

Идя по набережной, Соловьев наблюдал ее отражение в кротком море. Неоновые вывески, аттракционы, фонари дрожали на вечерней ряби, изредка рассекаемые катерами под пронзительные звуки караоке. Под полотняными навесами его ждали торговцы мороженым, воздушной кукурузой и светящимися браслетами. Из-под пальм ему махали фотографии с апатичными обезьянками на поводках. У каждого ресторана его встречали официантки в черных юбках и белоснежных просвечивающих блузах. Юг Соловьеву определенно нравился, но он был сдержанным молодым человеком. Он не посетил ни одного ресторана и не приобрел ни одного светящегося браслета.

Соловьев зашел в Центральный гастроном и купил палку сухой колбасы. Подумав, он купил также хлеба, сыра, масла, оливок и две бутылки пива. Домой шел не по набережной, а по тихой параллельной улице – улице Чехова. Мимо лютеранской церкви. Мимо необычного здания в мавританском стиле. Мимо оклеенного красной бумагой магазина для взрослых. Будучи взрослым, у магазина Соловьев заколебался, но тут же взял себя в руки и прошел мимо. Посещение подобного заведения он счел занятием, недостойным историка.

Дома Соловьев первым делом помыл руки. После уличной духоты вода показалась ему неожиданно холодной. Она текла из трубы с удивительным для юга напором – словно неведомый Соловьеву водопад Учан-Су, на который его успели несколько раз пригласить на набережной. Вытерев руки дырявым, но чистым полотенцем, он приступил к еде.

После купания и прогулки Соловьев здорово проголодался. Он съедал бутерброд за бутербродом и запивал их неохлажденным местным пивом. Включенное им радио транслировало городские объявления. Бесформенным ящиком оно чернело на стене и (*продаются мотоблоки, цены умеренные*) предлагало подобные себе крупные некурортные вещи. Говорило пожилым женским голосом с едва заметным южнорусским акцентом. Примерно так говорило

радио и в соловьевском доме на станции *715-й километр*. Лишь изредка (на утренней зарядке и выпусках центральных новостей) переходило на беззастенчивое аканье. Оно и выглядело подобным же образом – эбонитовое, неуклюжее; то говорило, то пело. Главное – никогда не молчало.

Утро следующего дня Соловьев начал с посещения горсовета. Взяв свое аспирантское удостоверение, он отправился на Советскую площадь, 1. В Управлении культуры его приняла спокойная полная женщина с большим бюстом. Она сидела перед Соловьевым, положив свой бюст на руки, руки – на стол. Прочность ее положения, отражавшая, по-видимому, позиции, завоеванные культурой в Ялте, умиротворяла. Забыв все приготовленные фразы, Соловьев непринужденно изложил ей цель своего приезда. Полная дама не перебивала. Подумав, он рассказал об истории своих занятий генералом и – неожиданно для себя – даже об аспиранте Калюжном, чье мечтательное бездействие открыло ему дорогу для этих занятий.

Женщина, управлявшая ялтинской культурой, умела слушать. Все рассказы Соловьева она восприняла столь же доброжелательно, сколь и неподвижно. С лица ее не сходила сдержанная улыбка. Когда красноречие гостя окончательно иссякло, она произнесла ответное и, как тут же выяснилось, запоздалое слово.

Из ее объяснений следовало, что раз в год, в день смерти генерала, в Ялту приезжает Нина Федоровна Акинфеева – женщина, помогавшая ему последние годы его жизни. Нина Федоровна приходит на мол (чиновница освободила одну из своих желеобразных рук и указала в сторону окна) и сидит там несколько часов в память о генерале. Затем она исчезает в неизвестном направлении, чтобы снова вернуться в город через год.

– День смерти генерала был вчера, – сказала женщина.

Провисшая было грудь вновь застыла на подложенной руке, словно компенсируя подвижную природу Акинфеевой. Соловьев расстроился. Он рассказал своей собеседнице, как, находясь от Нины Федоровны (до чего просты у тайн имена!) в нескольких десятках метров, он не рискнул подойти к ней с мокрыми разводами на шортах, как побежал переодеваться – и... От досады юноша ударил себя кулаком по колену и тут же извинился. И удар, и извинение были приняты в одинаковой степени благожелательно.

Дав эмоциям петербуржца излиться в полной мере, представительница ялтинской культуры сообщила следующий важный факт. Акинфеева Н. Ф., несмотря на неустановленное место жительства, от ялтинской жилплощади (26,2 м) не отказалась, а прописала туда свою дочь, Акинфееву Зою Ивановну, 1976 г. р., незамужнюю, заочную студентку Симферопольского пединститута.

– Ивановна – отчество условное, – полная женщина улыбнулась. – Этого Ивана никто не видел.

Судя по смуглому лицу девушки, может статься, что был это вовсе и не Иван. Восполняя свое длительное молчание, ответственный работник изложила Соловьеву историю семьи Акинфеевых.

В начале семидесятых в коммуналку генерала Ларионова (как, он жил в коммуналке?!) вселился новый жилец, Н. Ф. Акинфеева. Ордер на комнату был выделен из городских фондов и распределен через Музей А. П. Чехова, в штате которого числилась нуждавшаяся в жилье Акинфеева. К моменту вселения нового жильца генерал давно был вдовцом. Здесь рассказчица тактично помолчала.

О смерти жены генерала в середине шестидесятых Соловьев знал из книги А. Дюпон. За неимением подробных сведений об этой женщине французская исследовательница упомянула о ней довольно кратко. Еще более кратко было сказано о сыне генерала, чью судьбу в зрелом возрасте ученой даме так и не удалось проследить. Эту судьбу – по крайней мере, частично – удалось проследить ялтинской госслужащей. Остановив на Соловьеве немигающий взгляд, она сообщила, что единственный сын генерала спился и ушел из дому. Она никак не могла вспом-

нить, сначала ли сын спился, а затем ушел из дому, или, наоборот, уйдя из дому, впоследствии спился. Впрочем, даже в отсутствие хронологической ясности оба факта были налицо, и оба вызывали у рассказчицы волнение. Она перестала улыбаться и, откинувшись на стул, машинально поправила под блузкой лямки бюстгалтера. Соловьеву стало казаться, что он смотрит какой-то старый фильм, но при этом не помнит, чем этот фильм кончается.

В начале семидесятых Акинфеевой было около сорока, и она, подобно генералу, была совершенно одинока. Поселившись в коммуналке, Нина Федоровна неожиданно обрела смысл своего существования. Генерал стал предметом ее почитания и заботы, он занимал все ее мысли, силы и время. Чтением ее стали книги по Белому движению. Они сильно потеснили чеховедение, некогда занимавшее в ее сознании исключительное положение. Мало-помалу коллеги Нины Федоровны по музею стали с тревогой отмечать, что Чехов больше не стоит в центре ее интересов.

Трудно сказать, что именно послужило причиной духовного перерождения музейной сотрудницы. Сыграло ли здесь роль ее тщеславие (пребывание в одной коммуналке с великим человеком) или, наоборот, жалость (пребывание великого человека в коммуналке)? Было ли это влиянием магнетических свойств самого генерала – человека, некогда повелевавшего армиями и уж наверняка способного подчинить своей воле одинокую музейщицу? Не стояла ли, наконец, за всем происходящим банальная коммунальная интрижка, как склонна была считать часть сотрудников чеховского музея (мнение подкреплялось намеками на непредсказуемый темперамент их коллеги)? Следует, однако, оговориться, что другая часть сотрудников музея возможность двусмысленных отношений с престарелым генералом отвергала категорически. В ходе спонтанно возникшего обсуждения прозвучало даже предположение, что с тем же успехом подобные отношения у Н. Ф. Акинфеевой могли бы развиваться и с А. П. Чеховым.

О том, что связь двух одиноких людей была чисто платонической, косвенно свидетельствует следующий примечательный факт. Одним прекрасным утром (это случилось после ряда лет беззаветного служения генералу) Нина Федоровна обняла предмет своего почитания и, не сказав ни слова, бежала из дому. Вернулась она недели через три в виде неузнаваемого. Лицо ее было в царапинах, а одежда разорвана. Дышала беглянка тяжело. Она привезла с собой запах леса, дешевых папирос и разоренную сберкнижку. Генерал принял ее без единого вопроса. Через несколько недель, разразившись рыданиями, она призналась генералу, что беременна. Сидевший в кресле генерал поднял голову. В протянутую им руку Нина Федоровна вложила свои трепещущие персты, и он их молча сжал.

Никто, включая музей и курирующий его отдел культуры, так и не узнал, через какие чащи влекло Нину Федоровну в дни ее побега. Разбуженное в музейном работнике природное начало толкнуло его к продолжению рода, бросило в объятия извечного, дикого, естественного. Данный случай дирекция музея рассматривала как беспрецедентный и не заслуживающий подражания. Учитывая, однако, что Акинфеева забеременела на самой грани детородного возраста (в профсоюзной характеристике подчеркивалось, что для члена коллектива это был последний шанс), ей выделили материальную помощь в размере семидесяти пяти рублей. Падшей сотруднице был вручен также сборник стихов директора музея *Каменная нога*²⁶. О своей помощи музей впоследствии не пожалел. Годы спустя, когда Акинфеева отбыла из Ялты в неизвестном направлении, место матери в просветительском учреждении заняла дочь.

Дальнейшая жизнь в коммуналке никак не изменилась. Нина Федоровна вернулась к прежним, добровольно на себя взятым обязанностям. Каждый день (рано утром, а порой и вечером) она сопровождала генерала на мол, неся за ним складное кресло и тент. Время после наступления темноты отдавалось подготовке мемуаров. Прежде генерал писал их сам, но после восьмидесяти, когда рука перестала его слушаться, он вынужден был их оставить. С появле-

²⁶ Кривуляк Г. В. Каменная нога. Стихотворения разных лет. Симферополь, 1971.

нием в его жизни помощницы для генерала открылись новые возможности: свои воспоминания он начал диктовать.

Перед самыми родами Нина Федоровна спросила у генерала, как ей назвать ребенка.

– Назови его Зоей, – сказал генерал.

Подчеркивал он, соответственно имени, жизнеутверждающий смысл произошедшего или попросту ориентировался на святцы, так и осталось неизвестным. Женщина уточнила лишь, как назвать ребенка, если родится мальчик, но генерал ответил ей, что будет девочка.

Через несколько дней ее отвезли в роддом. Предписав убрать с подоконника иконку св. Пантелеймона, главврач, ввиду возраста прибывшей, принял решение делать кесарево сечение. Все девять месяцев своей беременности Нина Федоровна опасалась осложнений при родах, и тревоги ее, увы, подтвердились.

Осложнения были вызваны пинцетом, забытым по ходу операции в животе роженицы. Следует, однако, отдать должное врачам: услышав жалобы на резь в брюшной полости, из множества возможных причин они безошибочно выбрали правильную (диагноз ставила забывшая пинцет медсестра), что, собственно, и определило успех второй операции.

Из больницы Нина Федоровна вышла дней через двадцать. Когда с Зоей, перевязанной розовой ленточкой, они переступили порог своей квартиры, генерала в ней уже не было. Он умер.

Соловьев смотрел в бездонные глаза работника культуры. В них читались глубокое знание культурной жизни города и готовность этим знанием делиться. Читалось сочувствие к судьбе генерала Ларионова и его окружения. Вместе с тем – и это выразилось в глубоком вздохе собеседницы Соловьева – влияние ялтинского горисполкома на судьбы человеческие имело свои границы.

5

После обеда Соловьев отправился в Музей Чехова. Он долго поднимался по раскаленной извилистой улочке. Чтобы оставаться в тени, переходил с одного тротуара на другой. Это восхождение напоминало ему научную работу, которая, как он успел усвоить, никогда не движется по прямой. Ее траектория непредсказуема, и рассказ о ней имеет сотню вставных новелл. Всякое исследование подобно движению собаки, идущей по следу. Это движение (внешне) хаотично, порой оно напоминает кружение на месте, но оно – единственно возможный путь к результату. Исследованию необходимо сверять свой собственный ритм с ритмом изучаемого материала. И если они входят в резонанс, если пульсы их бьются в такт, кончается исследование и начинается судьба. Так говорил проф. Никольский.

Наконец Соловьев увидел то, что искал. Перед ним лежала небольшая площадь, в сплошной ялтинской застройке напоминавшая воронку от взрыва. По ее периметру располагалась компания бронзовых уродцев, изображавших, по мысли скульптора, самых известных чеховских персонажей. Впрочем, скульптуры на прямом отношении к Чехову как бы и не настаивали. Будто стесняясь подойти к дому писателя вплотную, они сиротливо жались у обрамлявших площадь деревьев.

Сам музей состоял из бетонного административного здания и изящного коттеджа начала века (это и был чеховский дом). В бетонном сооружении Соловьев спросил Зою Ивановну. На него посмотрели с любопытством и куда-то позвонили. В ожидании Зои Ивановны Соловьев вышел на воздух. Через несколько минут звякнула калитка чеховского сада, и оттуда появилась смуглая девушка. Шоколадный тон ее кожи и темные волосы не оставляли сомнений: появившаяся и была Зоей Ивановной. Именно ее отчество ставили под сомнение в горсовете. В ней было что-то от мулатки, от карнавала в Рио. Что-то докультурное и уж совершенно точно не чеховское. Ей ничего не стоило бы сыграть в вестерне. Дочь вождя, например. Ее лицо было невозмутимо.

Сквозь тонкое, почти нематериальное платье Зои Ивановны просвечивали самые интимные подробности ее туалета, отчего молодой исследователь почувствовал смятение. Он стал сбивчиво рассказывать о своих занятиях генералом Ларионовым, опять зачем-то упомянув об аспиранте Калюжном. Рассердившись на самого себя, он вдруг перешел к анализу ошибок в книге А. Дюпон и неожиданно закончил ответом проф. Никольского латышским ветеранам.

– Хотите, я покажу вам музей? – строго спросила Зоя Ивановна.

– Хочу, – сказал Соловьев.

Он последовал за Зоей (только не называйте меня Ивановной!), машинально копируя ее легкую индейскую походку. Какая уж тут Ивановна...

В чеховском доме было прохладно. Войдя сюда из ялтинской жары, Соловьев мысленно поблагодарил русскую литературу. Ему подумалось, что прохлады дома отражала живительное, какое-то родниковое начало отечественной словесности. Фраза ему понравилась, и он произнес ее Зое.

– К сожалению, – она коснулась ладонью стены, – здесь было прохладно не только летом.

Зоя рассказала, что и зимой этот дом невозможно было протопить как следует. Его возводил московский архитектор, не знакомый с особенностями ялтинского климата и неспособный, стало быть, построить здесь что-либо удовлетворительное. Тонкие Зоины пальцы красиво скользили по ромбам обоев. Фоном ее рассказа проступал образ бескрайней России, планомерно разрушаемой Москвой. В лице петербуржца Соловьева она имела благодарного слушателя.

Экскурсия оказалась очень подробной. Гость музея побывал во всех помещениях чеховского дома – даже в тех, которые обычно не предназначались для посещений. Ему позволено

было снять телефонную трубку, в которой некогда звучал голос Л. Н. Толстого, звонившего Чехову из Гаспры. В спальне он прикоснулся к простыням с вышитой прачечной меткой АЧ. С видом фокусника, достающего из шляпы последнего и самого красивого голубя, Зоя усадила его рядом с собой на постели писателя. Сидя на музейном экспонате, Соловьев напрочь забыл о Чехове. Его вниманием владело смуглое тело экскурсовода, просвечивавшее сквозь белизну платья.

Затем они вышли в сад (вышли в сад, прошептал Соловьев). Минуя посаженный Чеховым бамбук, Зоя вывела посетителя к двум скамейкам, буквой «Г» вписанным в самый угол сада. По предложению Зои (сдержанный президентский жест) они сели на разные скамейки, словно на переговорах. Соловьев еще раз рассказал о цели своего прибытия в Ялту – на этот раз более спокойно и внятно.

Зоя слушала его, откинувшись почти к самой спинке скамейки, но не прислоняясь к ней. Соловьеву припомнилось, что в кадетских корпусах так было принято вырабатывать осанку. Он также сообщил ей о походе в Ялтинский горсовет, умолчав, правда, о подробностях, касавшихся Зои лично. На рассказе о возвращении Нины Федоровны из роддома Зоя его перебила:

– Когда мы с мамой приехали домой, его комната была подчистую разворована. Новый жилец встретил нас в тапочках генерала.

Для человека, в момент прибытия перевязанного розовой лентой, Зоя оказалась очень наблюдательна.

В комнату генерала въехала семья Козаченко. Они не были ялтинцами. На *русскую Ривьеру* Козаченко попали из каких-то глухих мест – то ли с Тернопольщины, то ли со Львовщины. Сама по себе жизнь в провинции вряд ли была способна поднять их с места. Она их не тяготила. Просто случилось так, что Петр Терентьевич Козаченко, специалист по гражданской обороне, заболел туберкулезом – болезнью, для подобных специалистов не характерной и несколько даже богемной.

Находясь на излечении в Алушке, Петр Терентьевич сумел выяснить, что ялтинский институт вина *Магарац* срочно нуждается в специалисте его профиля. Предложив свои услуги, он был немедленно принят и на историческую родину вернулся сотрудником винного института. Для семьи Козаченко его трудоустройство оказалось полной неожиданностью. Жена Петра Терентьевича, Галина Артемовна, была изумлена самоуправством мужа и переезжать наотрез отказалась. В последовавшей семейной сцене она поместила между собой и Петром Терентьевичем сына Тараса. Указывая на Тараса, она обвинила Петра Терентьевича в безответственности. Десятилетний Тарас смотрел вбок, и из глаз его катились обильные беззвучные слезы.

В другом случае Петр Терентьевич, возможно, и уступил бы (то есть наверняка бы уступил), но возникшая борьба за переезд неожиданно представилась ему борьбой за его собственную жизнь. Он проявил непреклонность, в отношениях с женой ему в общем-то несвойственную. Под ее ежедневные проклятия он снимался со всех учетов, на которых состоял, увольнялся со своей прежней работы и озабоченно ощупывал лимфатические узлы в области подмышек.

Галина Артемовна, еще до крымской поездки мужа его мысленно оплакавшая (к его болезни она отнеслась со всей серьезностью), упорством Петра Терентьевича была озадачена. С возможной смертью мужа женщину примиряла надежда сохранить за собой ведомственную жилплощадь, предоставленную ему как представителю ГО и, по слухам, некоторых других аббревиатур. Испугавшись его переездной горячки, она потихоньку выяснила свои права на указанную жилплощадь и с горечью установила, что в случае смерти или отъезда мужа недвижимость автоматически возвращается государству. В результате позиция Галины Артемовны смягчилась. Смерти она предпочла отъезд.

При институте *Магарац* семья Козаченко первоначально получила всего лишь комнату в общежитии. Раздосадованный этим, Петр Терентьевич стал искать поддержки в иных ведомствах и даже предложил составлять отчеты о брожении умов в принявшем его учреждении. Соответствующие ведомства реагировали довольно вяло. По информации общавшихся с П. Т. Козаченко ответственных работников, единственным, что бродило в институте *Магарац*, было молодое массандровское вино. Умы института пребывали в состоянии полного покоя. Впрочем, сама по себе бдительность Петра Терентьевича была признана похвальной, и в качестве поощрения ему выделили освободившуюся комнату в коммунальной квартире.

– И они въехали к нам, – вздохнула Зоя.

Она поправила свое прозрачное платье, и взгляд Соловьева невольно остановился на ее коленях. Крон чеховских кипарисов коснулся первый вечерний ветер.

Въезжали Козаченко налегке. Отправляясь в неизвестность, они продали мебель на родной Тернопольщине. В просторную комнату генерала были внесены лишь три раскладушки, несколько тазов разного размера и купленный на ялтинской барахолке фикус. В дальнем от окна углу под рушниками был повешен портрет украинского поэта Т. Г. Шевченко (1814–1861). Оставалось еще очень много свободного места.

Ощущение пространства увеличивалось посредством того, что за день до вселения семьи Козаченко вещи из комнаты генерала были вынесены соседом Иваном Михайловичем Колпаковым. Операция по захвату имущества покойного была проведена по-военному стремительно. В одну из ночей Иван Михайлович отклеил от генеральской двери бумажку с печатью и при пособничестве жены, Колпаковой Екатерины Ивановны, перенес в свою комнату всё вплоть до генеральских очков и книги Г. В. Кривуляка *Каменная нога*. Эту книгу по просьбе Нины Федоровны генерал в свое время согласился пролистать.

Особую сложность представлял дубовый шкаф с резными двуглавыми орлами, поднять который супруги оказались не в силах. После полутора часов бесплодных усилий (за низкую грузоподъемность Екатерине Ивановне был нанесен удар по спине) изрядно покореженный шкаф кое-как протащили на подложенных под него пластмассовых крышках. Пол в генеральской комнате Екатерина Ивановна тщательно подмела.

Разумеется, предпринятые супругами действия оказались слишком наивными, чтобы не быть раскрытыми. Раскрытыми они оказались хотя бы уже потому, что, ввиду величины шкафа, дверь маленькой комнаты Колпаковых не закрывалась. В образовавшийся сектор обзора попадали стоящие друг на друге кровати и связки книг, отродясь Колпаковыми не читавшихся. Заключительная попытка Екатерины Ивановны замести следы уже никого не могла ввести в заблуждение.

Пытливый ум работника гражданской обороны представил ему произошедшее в деталях. Обвинив Колпаковых в присвоении перешедшего к государству имущества, он сообщил им о своем намерении проинформировать государство о нанесенном ему ущербе. Недипломатичный Колпаков тут же нанес Козаченко удар в лицо. Мальчик Тарас, стоявший в дверях выделенной комнаты, заплакал. К присвоению государственного имущества добавлялось нанесение тяжких телесных повреждений.

Колпаков почувствовал себя загнанным в угол и напился до беспамятства. Каково же было его изумление, когда наутро его разбудил сам Петр Терентьевич с бокалом пива в руке. Глядя на радужный синяк вокруг глаза соседа, Колпаков, возможно, счел его *пришельцем*. Иван Михайлович вначале даже отвел державшую бокал руку. Лишь выпив пиво и справившись с первым волнением, он оказался способен выслушать Козаченко.

П. Т. Козаченко давал И. М. Колпакову понять, что в деле возможны варианты. Загромождавшие колпаковскую комнату вещи покойного – рука Козаченко взмыла над отчужденным имуществом – следовало разделить поровну между конфликтующими сторонами. Шкаф как вещь заметную нужно было бы, во избежание скандала, отдать государству. Кроме того

(здесь голос Козаченко обрел прокурорские тона), в качестве компенсации за нанесенные увечья семье Козаченко передавались книги генерала из части Колпаковых.

Козаченковский проект Колпаков безоговорочно одобрил. Вещи были разделены пополам, книги отданы в полное владение Козаченко (за исключением сборника *Каменная нога*, заинтриговавшего Колпакова своим названием), а шкаф предложен государству.

К шкафу государство первоначально проявило интерес, но в конце концов было вынуждено от него отказаться. Будучи внесен в квартиру до уплотнения и связанных с ним ремонтных мероприятий, шкаф попросту не подлежал выносу. Выяснилось, что за истекшие десятилетия советской власти входная дверь уменьшилась. Вещь, препятствующую закрытию двери, держать у себя Колпаков отказался, и после долгих сомнений Петра Терентьевича (которые были связаны с наличием двуглавых орлов) она была водворена на прежнюю территорию.

Более сложной оказалась судьба трофейной литературы. Просмотрев книги генерала, Козаченко потерял к ним интерес и тайно отнес их в букинистический магазин. Впоследствии, когда вернувшаяся Нина Федоровна настойчиво расспрашивала соседей о генеральских книгах, он лишь угрюмо отмалчивался. В конце концов правда вышла наружу, и Нина Федоровна бросилась в букинистический, чтобы выкупить хотя бы то, что осталось. Осталось, к сожалению, не так уж много.

Что касается *Каменной ноги*, то Колпаков попробовал было ее читать, но быстро разочаровался. Не будучи знаком с основами стихосложения, он не понял, отчего тексты в ней расположены столбиком²⁷. В равной степени чужда ему осталась и образность Г. В. Кривуляка, довольно, вообще говоря, незатейливая. Наконец, он так и не выяснил, почему попавшее к нему издание называется именно так. Не стовариваясь с Козаченко, он отнес книгу в букинистический магазин, и на том, казалось, истории ее приходил конец, но – *habent sua fata libelli*²⁸.

В один прекрасный день в букинистический зашел Г. В. Кривуляк и, увидев на полке *Каменную ногу*, прочел на ней собственноручную дарственную надпись. Директор и поэт Г. В. Кривуляк купил свою книгу и вновь подарил ее Нине Федоровне со словами, что у каждого человека должно быть то, что не продается. Вообще говоря, в его поэтической практике это был не первый случай: время от времени он выкупал у букинистов некогда подписанные им книги и дарил их нерадивым владельцам с пометкой *Повторно*. Наличие в магазине *Каменной ноги* он наловчился определять уже с порога. Продавцы это знали и охотно принимали *Каменную ногу* на комиссию.

– Зоя, мы закрываемся! – крикнули откуда-то из-за пределов сада.

– Мы закрываемся, – грустно подтвердила Зоя.

Открыв калитку, она подождала, пока петербургский гость не вышел, и закрыла ее с уже знакомым Соловьеву звяканьем. Не говоря ни слова, вошла в административное здание. Оставшийся на месте Соловьев смущенно жался у калитки. Его не приглашали войти в помещение, но с ним ведь и не попрощались...

Ему не хотелось быть навязчивым. Не хотелось спрашивать, можно ли Зою проводить до дома, хотя проводить, конечно, хотелось. С другой стороны, было бы странно и даже неприятно, если бы Зоя сама об этом попросила.

– Вы еще здесь? – спросила Зоя без всякого удивления.

Соловьев кивнул, и они двинулись к выходу. Зоя направилась не к тем ступенькам, по которым с площади спустился в музей Соловьев. Обогнув административное здание, они вышли к другим воротам. От этих ворот, петляя между корпусами какого-то санатория, уходила пешеходная дорожка.

²⁷ Об этом см.: Жирмунский В. М. Теория стиха. Л., 1975.

²⁸ Книги имеют свою судьбу (лат.).

– А что произошло с воспоминаниями, которые генерал продиктовал Нине Федоровне? – спросил Соловьев. – Они тоже находились в комнате генерала?

Девушка рассеянно пожала плечами.

– Наверное... Тогда была такая неразбериха.

Они спустились к речке Учан-Су и, пройдя вдоль нее с полсотни метров, оказались на каменном мосту. Облокотившись о перила, Зоя наблюдала, как сквозь булыжники и коряги речка Учан-Су неумолимо пробивалась к морю. Она спокойно посмотрела на Соловьева.

– Эти воспоминания для вас очень важны?

– Да.

На противоположном берегу располагался маленький базар. По предложению Зои они купили арбуз и пошли с ним в близлежащий парк. Устроившись на скамейке, Зоя достала из сумочки складной швейцарский ножик. Необходимые предметы у этой девушки всегда были с собой.

Разрезав арбуз пополам, одну половину Соловьев положил рядом на целлофановый пакет. От второй половины он отрезал аккуратные тонкие полукружия, делил их на более мелкие доли и выкладывал на том же пакете. В его обращении с ножом было что-то изначально мужское, и следящий за его руками взгляд Зои это, несомненно, выражал. Соловьев и сам видел, что всё у него получается ловко, хотя немного этому и удивлялся. Арбуз был по-настоящему сладким.

– Ваша мама не предъявляла прав на имущество генерала?

– У нее не было никаких официальных прав.

– И как же она жила дальше с теми, кто...

– ...кто ее обворовал? Нормально. Это жизнь.

Жизнь справлялась и не с такими вещами. Не только предъявлять претензии, но даже высказывать обиду Нине Федоровне было затруднительно. Так можно было бы поступать, видясь со своими обидчиками в суде или, по крайней мере, встречаясь с ними изредка на улице. Но имея их рядом с собой ежедневно, посещая общий с ними туалет и оставляя кастрюлю с супом на общей кухне, это было совершенно невозможно. Обида Нины Федоровны не то чтобы прошла, скорее – притупилась. Это чувство еще воспламенялось при виде разных генеральских мелочей (многие из которых были ему подарены именно ею), всплывавших то у одной, то у другой супружеской пары, но в целом считалось погасшим.

Более того. Как это ни странно, в свободное от медицинских процедур время с ней начал вести беседы Козаченко. Полуприсев на доставшийся ему кухонный стол, он рассказывал Нине Федоровне об изготовлении респиратора в домашних условиях и накладывании шины на перелом, об антибактериальных инъекциях и воздействии паров хлора на верхние дыхательные пути. Никому в своей жизни ничего не даривший, он вдруг подарил ей план эвакуации завода железобетонных изделий, а также собственноручно выполненный макет оголовка запасного выхода. В день рождения Нины Федоровны он даже хотел подарить ей свою коллекцию отравляющих веществ, но, случайно узнав о намерении мужа, этому решительно воспротивилась Галина Артемовна. Кстати говоря, контакты мужа с соседкой она про себя немедленно отметила. Галина Артемовна смотрела на них иронически, но вслух никак не высказывалась. Порой создавалось впечатление, что такое положение вещей ее даже устраивает.

В сущности, волновавшие Петра Терентьевича профессиональные темы Галину Артемовну всегда оставляли равнодушной. Ни подробнейшая классификация нервно-паралитических газов, которой он владел в совершенстве, ни его умение с закрытыми глазами определять тип и размер противогаза не производили на нее никакого впечатления. Возможно, что обращение к Нине Федоровне, вежливо его выслушивавшей, как раз и было поиском того, чего специалисту недоставало в собственной семье. Играло роль, вероятно, и сочувствие Петра

Терентьевича позднему материнству Нины Федоровны. Это напоминало ему о том, что и они с Галиной Артемовной смогли завести ребенка, будучи почти сорокалетними.

Что касается супругов Козаченко, то с ними произошли определенные перемены. Их можно было бы охарактеризовать как отдаление друг от друга – если бы, конечно, они прежде были близки. Но близки они не были. Окончательно увлекшись своей болезнью (не такой, судя по всему, страшной, как это показалось супругам первоначально), после работы Козаченко обходил ялтинские аптеки. Он сравнивал стоимость лекарств, пытаясь всякий раз выяснить их отпускную цену на базе.

В один из таких вечеров его жена подверглась сексуальной атаке И. М. Колпакова, принявшего ее в состоянии опьянения за собственную жену. Отсутствие со стороны Г. А. Козаченко сопротивления утвердило его в этом заблуждении, и он проделал с соседкой всё, что ему подсказала его небогатая фантазия. С тех пор ошибки Ивана Михайловича стали повторяться регулярно – с той лишь разницей, что теперь уже сама Галина Артемовна подсказывала ему те небольшие изыски, которых она так и не дождалась от специалиста по ГО.

Не подозревая о происходящем, Петр Терентьевич продолжал свое платоническое общение с Ниной Федоровной. По просьбе Козаченко ему была пересказана пьеса *Вишневый сад*, живо напомнившая ему любимое стихотворение *Садок вишневый коло хаты*. Однажды он даже попросил показать ему Музей Чехова, о котором (Чехове) он неоднократно слышал. В то время как дядя Ваня (Колпаков) предавался любовным утехам с его женой, Козаченко с группой экскурсантов стоял в чеховском кабинете. Со слезами на глазах он внимал рассказу о смертельной схватке Чехова с такой же, как у него, болезнью и в ту минуту чувствовал себя немного Чеховым. В глубине души Петр Терентьевич тоже, возможно, хотел сказать немецкому врачу: *„Doktor, ich sterbe“*²⁹, но – немецких врачей в его жизни не было и не могло быть.

Задумавшись в чеховском музее о смерти, он решил заказать себе похороны с музыкой. Это было единственным, что он мог себе позволить в области прекрасного. В составленном им завещании специально для этой цели отводилось пятьсот советских рублей на отдельной сберкнижке. За исполнение Шопена на открытом воздухе сумма казалась ему более чем достаточной. И хотя умирать он вообще-то не собирался, сделанное распоряжение внесло в его жизнь определенные трагизм и возвышенность.

Жизнь его оборвалась не по-чеховски. Вернувшись в один из дней в неурочное время, в своей собственной постели он застал *безобразную любовную сцену*. Такое определение происходящего вырвалось у самого Петра Терентьевича. Вне себя от гнева, он бросился с кулаками на Колпакова и принялся осыпать его ударами. Находясь под воздействием алкоголя, Колпаков вначале сносил удары довольно кротко. В конце концов он вышел из себя и с нецензурными выражениями отшвырнул Козаченко. Падая, Петр Терентьевич ударился затылком об одну из голов вырезанного на шкафу двуглавого орла и потерял сознание.

Врач скорой помощи, приехавший часа через полтора после вызова, констатировал, что травма П. Т. Козаченко несовместима с жизнью. Колпаков, не сумевший разобраться в такой формулировке, схватил врача за шиворот и потребовал ответить на простой вопрос: жив Козаченко или мертв?

– Мертв, – коротко ответил врач и уехал, не прощаясь.

Стремясь упредить милицейские расспросы, Иван Михайлович решительно увлек Галину Артемовну к себе. Он уговаривал ее не упоминать о действительной причине смерти мужа. Собственно, уговаривать-то ее особенно и не требовалось. Сомнения в долгожительстве Петра Терентьевича она испытывала уже давно, так что впечатлить здесь ее могла разве что форма смерти, но не ее факт. Протрезвевший Колпаков проявил неожиданные для него

²⁹ «Доктор, я умираю» (нем.).

ораторские способности. Первые же сказанные им слова оказались выстрелом в *десятку*: он пообещал на вдове жениться.

Без колебаний и даже без особого кокетства она пошла ему навстречу. Приехавшей милиции было сказано, что у ослабленного болезнью Петра Терентьевича закружилась голова. Взмахнув руками, Галина Артемовна показала, как неудачно упал ее супруг. Безутешную вдову усадили на постель (уже заправленную, с тремя – одна на другой – взбитыми подушками) и велели соседям отпаивать ее валерьянкой. В углу комнаты стоял четырнадцатилетний к тому времени Тарас и держал в руках отломившуюся голову орла. Из глаз его капали крупные медленные слезы.

Похоронили Козаченко не так, как ему мечталось. Обнаружив у мужа неучтенные пятьсот рублей, Галина Артемовна была до крайности возмущена и похоронила его без музыки. Кроме Тараса и Галины Артемовны за гробом шли Иван Михайлович, Нина Федоровна с малолетней Зоей и представитель некоей организации (на все расспросы он таинственно прикладывал к губам палец), с которой, как выяснилось, была связана вся сознательная жизнь Козаченко.

Именно эта организация позаботилась о подобающей торжественности события. С учетом того, что покойный был поселен в комнату белогвардейского генерала, смерть Петра Терентьевича от двуглавого орла была расценена как почти геройская и в высшей степени антимонархическая. На могиле Козаченко незнакомцем была установлена алюминиевая тренога со звездой и буденовкой. Представителей основного места работы покойного почему-то не было. Вместе с тем на поминки институтом *Магара*ч

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.